

С. СОЛОВЕЙЧИК ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

• С. СОЛОВЕЙЧИК

Час
УЧЕНИЧЕСТВА

Т

ИЗДАТЕЛЬСТВО • ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА •

Ломоносов
1711-1765

Лобиков
1744-1818

1763
Раменский
отец

1712
Руссо
1778

174

Роменский
1592-1670

Скворцова
1722-1794

17

1817
Раменский
сын

Тесталоуци
1746-1827

1834
Раменский
внук

Сертов
1828

Пирогов
1810-1881

Крифская
1869-1934

вну
46

Машкин
1878-1934

1910 -
Ташенский
пра-правнук

Толонский
1884-1941

Макаренко
1888-1939

ский
1870

Молстой
1828-1910

1869
Ташенский
правнук

Сухошинский
1918-1970

ий

Ульянов
1831-1886

Q

Жизнь
замечательных
учителей

Москва

С. Соловейчик

Час
ученичества

1972.

„Детская литература“

Оформление Е. ГАННУШКИНА

Портреты С. МОНАХОВА

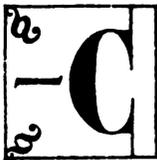
Издание второе, дополненное

Соловейчик С. Л.

С-60 Час ученичества. Жизнь замечательных учителей. Изд. 2-е. Оформл. Е. Ганнушкина. Портреты С. Монахова. М., „Дет. лит.“, 1972.

256 с. с ил. 150000 экз. 84 к. в пер.

«Час ученичества» — книга о трудном и благородном труде учителя, о захватывающей и драматичной борьбе за образование, о жизни великих педагогов. Книга поможет школьникам по-новому взглянуть на труд учителя, на школу, на учение.



адитесь, пожалуйста. Садитесь и слушайте. Я расскажу вам потрясающую историю...

— Все рассказчики обещают потрясающие истории. Особенно те, кто способен увлекаться, — а вы, я вижу, из их числа. Еще и не начали, а уже — «потрясающая». Могли бы проще: «интересная». Или так: «Я расскажу вам одну историю...»

— С вами трудно. Но я и не рассчитывал на другой прием. Не придирайтесь к словам, лучше скажите: собирались ли вы когда-нибудь стать учителем?

— Как вам сказать? Нет человека на земле, который не примерял бы на себя профессии учителя. Учитель у нас перед глазами с детства; пока мы не вырастем, мы никого другого не видим на работе, в действии — только учителя. Первый учитель — первая встреча с людьми на работе... И потому каждый определяет свое отношение к этому занятию. Каждый говорит себе: «Я буду учителем» или: «Нет, ни за что, я никогда не буду учителем...»

— И вторых больше, чем первых? Не так ли?

— Разумеется. Наверно, в этой профессии есть какие-то радости, но ученики их не видят. У нас в классе тридцать ребят. И лишь одна девчонка собирается подать в педагогический, да и то потому, кажется, что больше ей не на что рассчитывать...

— Та-ак... «Одна девчонка...» А вы?

— Я? Ни за что.

— Категорично. Почему же?

— Ни за что.

— А все-таки? Нельзя ли обстоятельней?

— И говорить не о чем! Да и к чему? Вы что, собираетесь агитировать меня в учителя?

— Ни за что! Теперь моя очередь воскликнуть «Ни за что!».

— И моя очередь иронизировать: слишком категорично... А вы попробуйте, отчего же? Расскажите мне, что учитель самая благородная профессия, что на учителе мир стоит, что учитель — это связь поколений, прошедшего и будущего... Расскажите! Я даже соглашусь

послушать вас — интересно, как люди с важным видом повторяют всем известные слова.

— Согласитесь послушать? Вы снисходительны.

— Снисходительность — это, кстати сказать, все, на что может рассчитывать учитель. Все лучшие учителя, люди действительно талантливые, — неудачники, только оттого они и остаются в школе, а не идут дальше. Но чему может научить неудачник?

— Я мог бы сказать вам, что вы еще слишком молоды. Слишком плохо знаете жизнь... Но в ваших глазах ваша молодость вовсе не является недостатком, да молодость вообще не есть недостаток...

— Спасибо, что хоть это вы понимаете. Обычно разговоры со старшими кончаются железным аргументом: «Поживете с наше, молодой человек, а потом будете рассуждать!»

— Но я понимаю и другое. Вы действительно умеете рассуждать не по годам, в этом вам не откажешь. Нынче все стали рассудительны; быть рассудительным почти модно, а на моду обижаться глупо. Но боюсь, что ваш парадокс имеет под собою слишком простое основание: боюсь, вы никогда не видели подлинных учителей...

— Это почему же? На своих учителей я пожаловаться не могу. У нас старая школа, лучшие учителя в городе. Нашего математика во всех вузах Москвы знают!

— И он тоже вызывает у вас лишь чувство снисхождения?

— Как вам сказать... И благодарности тоже. Но что поделаешь? Если бы у него было больше воли, больше честолюбия, он мог бы стать профессором, я уверен.

— Мне кажется, я могу поставить диагноз.

— Относительно нашего математика?

— Нет, относительно вас.

— Я не болен.

— Нет, конечно, но... Вы учитесь десятый год, так, кажется?

— Так.

— Вы учитесь десятый год, но для вас еще не наступил ваш час ученичества... Вот причина. Что ж, это бывает.

— «Час ученичества»? Нельзя ли поточнее?

— Трудно. Но попытаюсь. Знаете такие стихи?

Есть некий час — как сброшенная кляжа:

Когда в себе гордыню укротим.

Час ученичества — он в жизни каждой

Торжественно-неотвратим.

— Цветаева?

— Цветаева. Читали, но не помните?

— Читал, но не помню. Это ужасно?

— Нет. Вполне естественно. Непережитое не трогает нас и в стихах. Не буду разбирать эти строки, не стану подчеркивать значение

слов «сброшенная клажа», «гордыня», «торжественно-неотвратим» — не люблю примечаний к стихам. Просто вслушайтесь:

Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества — он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

История, которую я хотел рассказать вам (и я настаиваю на слове «потрясающая»), — это история о том, как люди, самые разные по характерам своим, по образованию, по склонностям, жили для того, чтобы для каждого настал этот час. Все радости быстротечны, и только одна доступна нам постоянно, если мы познаем ее, — радость ученичества.

— Вы хотите сказать: радость учиться?

— Нет. Радость быть учеником.

— Не совсем понятно, но допустим, что различие есть. Что же касается людей, которые «жили для того, чтобы...», то вы, очевидно, имеете в виду великих педагогов? Так бы и сказали...

— Мог бы сказать и так, но это было бы не точно. Многие из этих людей не были педагогами, — или были не только педагогами, или, подобно вам, не собирались быть педагогами... Говорят: педагог — это призвание. Верно, если помнить, что «призвание» от слова «призыв». Человек занимается какой-то работой, лишь косвенно относящейся к педагогике, и вдруг он слышит в душе некий призыв: иди, вот твое дело, иди, спасай...

— Как Жанна д'Арк? Романтично.

— Романтично. «Иди и спасай...» Посмотрите: любой лисенок получает высшее лисье образование, прежде чем он становится лисом. И любой медведь получает высшее медвежье образование, прежде чем он станет медведем. И олененок, и еж какой-нибудь и тот имеет высшее оленье или ежачье образование. А человек? Разве человек не должен получить высшее человеческое образование, чтобы стать человеком?

— Любопытно, хотя и похоже на сказку.

— «Сказка!» В этой сказке — жизни тысяч прекрасных людей, в ней страдания, преждевременные смерти, заботы, просветления... Каждый рожденный человек имеет право на высшее человеческое образование! Человек без знания обездолен. Его надо спасать! Душу его надо озарить, просветить... Вы слышали о просветителях?

— Конечно. Новиков, Белинский...

— Так. А о великих педагогах?

— Разумеется. Ушинский, Макаренко...

— А еще?

— Еще... Да! Пирогов. И Крупская! Крупская была великим педагогом.

— Всё?
— Пожалуй, всё...
— Не густо.
— Но я никогда не интересовался педагогикой. Она не волнует меня, понимаете?

— Понимаю. Нельзя заинтересоваться тем, чего мы не знаем...
— Школу ли мы не знаем!
— Именно школу и не знаем. Мы приходим в школу в ту пору, когда еще не умеем ни рассуждать, ни размышлять... Школа для нас — огромный дом, и, кажется, он стоит вечно, даже если его и построили лишь в прошлом году. Мы принимаем школу как данное, как нечто такое, что всегда было и всегда будет точно в том же виде, в каком мы застали его первоклассниками... И выходит, что мы не знаем школы. Историю авиации и космонавтики, историю физики и географических открытий вы наверняка знаете лучше, чем историю школы. Луна, Марс и Венера доступнее учительской...

— Согласен и могу объяснить почему: Луна, Марс и Венера много интереснее учительской.

— Но разве не стоит хоть раз в жизни заглянуть в нее, полюбопытствовать, что здесь, вблизи, — как устроена та самая школа, которой вы отдали столько лет жизни? Откуда она взялась со всеми своими порядками и обычаями?.. Вы не отвечаете?

— Я думаю. Если говорить честно, меня задело одно место в ваших словах... Вы спросили, кого из педагогов я знаю. Я порывлся в памяти — почти никого... Вся педагогика начинается и кончается для меня «Педагогической поэмой».

— Как и для многих... Я говорю вам: никого мы так плохо не знаем, как учителей... Впрочем, и «Педагогическая поэма» — не так-то уж мало, если вы действительно поняли ее. Вот почему я смело обещал, что мой рассказ будет интересным: как бы плохо я ни рассказывал, я буду говорить о неизвестных людях, или о почти неизвестных, или о таких, о которых мы думаем, что знаем все, а на самом деле...

— Ничего не знаем? Так бывает. Но предупреждаю: в учителя я все равно не пойду...

— Что ж! Быть может, это и правильно. Вы слишком честлюбовы. Мои речи оставили вас холодным, но вам невыносима мысль о том, что в ваших знаниях есть пробел... Это по-своему неплохо. Кстати сказать, молодой человек, в наши дни трудно найти другую область деятельности, в которой был бы такой простор для человека, мечтающего о великих делах...

— Как в педагогике?

— Именно. Вы сами сказали: последнее слово педагогики для вас — Макаренко. Но Макаренко умер тридцать лет назад, и вакансия великого педагога свободна...

— Вы предлагаете ее мне?

— А почему бы и нет? Кто знает? Не вы, так кто-то из ваших сверстников, кончающий в этом году школу или только перебравшийся в пятый или шестой класс, — кто-то займет это место, прославится, войдет в историю... Ибо сегодня, как никогда, педагогика нуждается в великих идеях, великих открытиях... Физика завладела умами, когда она предложила миру несколько «сумасшедших» идей. А где такие дерзкие идеи в педагогике? Мир ждет их... По некоторым приметам можно предсказать, что в ближайшие десятилетия именно эти области будут больше занимать общественное мнение: психология, социология, педагогика — все, что непосредственно касается человека.

— Заманчивая картина... К тому же сплошные загадки: «час ученичества», «великий педагог»... Но, кстати, вы увлеклись и так и не ответили на мой вопрос: что это значит — «час ученичества»?

— Не ответил потому, что для объяснения двух этих слов мне придется рассказать все то, что я собираюсь рассказывать... Учитель и учение неразрывны. Нельзя быть учителем, не умея быть учеником, и нельзя понять смысла слова «ученик», не узнав все, что можно, об учителе...

— Тогда придется слушать!

— Придется?

— Извините: буду слушать.

— С интересом?

— Но это не только от меня зависит...

— Однако вы обещаете прилагать некоторое усилие? Ну хотя бы для того, чтобы... пополнить ваше образование?

— Обещаю.

— Помните же! Итак... С чего мы начнем? Если начать издали, наш рассказ очень не скоро придет к концу. Если начать с недавних времен, в нем ничего не поймешь... Выберем такую точку отсчета: восемнадцатый век. Начало восемнадцатого века. Не очень далеко?

— Далековато...

— Ничего, быть может, нам удастся мысленно приблизить это время к нашим дням. Не будем бояться истории. Изучение прошлого — самый экономный путь познания настоящего.

Глава первая.



з двух-трех зерен семеновод выводит новый сорт растения. Сначала счет идет на единицы — каждое зерно на виду; потом на десятки, сотни, килограммы, пуды, миллионы пудов...

Одно зерно, такое заметное в начале опыта, теряется в урожае. Чтобы увидеть его, надо вернуться

к истоку опыта, когда зерно решало будущую судьбу сорта.

Так и в истории. Событие, незаметное сегодня, когда-то, в начале какого-то развития, давало грандиозные результаты. Счет еще шел на единицы. Но кто знает — не лежит ли каждый сегодняшний наш поступок тоже в начале длинной цепи важнейших исторических событий? Мы просто не видим ее, эту цепь, потому что она еще не существует. Мы склонны видеть в событиях наших дней лишь результат прошлого развития и забываем, что они, эти события, — и причина будущего развития дел. Не только завершение, но и начало. Урожай велик, зерен — миллионы, но счет по-прежнему и всегда идет на единицы.

22 февраля 1701 года учителю только что основанной математико-навигационной школы Леонтию Магницкому велено было составить «годную для тиснения» книгу по арифметике, геометрии и навигации. Магницкому было 32 года; родом он был из Осташкова, «не славный и недостаточный человек». Недостаток у него был в деньгах, в способностях же недостатка не было. «Наукам, — сказано на его надгробии, — он изучился дивным и неудобовероятным способом», очевидно, бог весть у каких учителей и бог весть по каким книгам. Скорее всего, сам.

Магницкий усердно принялся за работу. И 21 ноября, день в день к назначенному сроку, представил рукопись «Арифметики». «И та книга, — говорится в одном документе, — послана с ним же,

Леонтием, в типографию, и велено с той же книги напечатать в типографии со усмотрением исправления 2400 книг».

Событие, заметное не болѣе и не менее, чем выход учебника в наши дни. По указам Петра I учебные книги составляли и печатали десятками.

Но вот что произошло с «Арифметикой»: вместе с другой книгой — «Грамматикой» Смотрицкого она стала первым учебником Ломоносова. «Врата моей учености», — назвал он эти две книги.

XVIII век приоткрыл врата учености.

Обратите внимание на спешку, в которой создавался учебник, и на огромный тираж его. Нужда! Но в ком нужда? В навигаторах. Создавался русский флот: нужны были штурманы, лоцманы, шкиперы. Учить их было некогда, и подготовленных для учения людей не было. В школу приходили подростки, не знавшие даже и первых правил арифметики, — потому учебник для навигаторов начинается с азов. Если представить себе учебник для специалистов в области ядерной физики, первые страницы которого посвящены правилам сложения, вычитания, деления и умножения, то такая фантастически толстая книга и будет похожа на «Арифметику» Магницкого. Но книга ошарашивает вовсе не поражает толщиной. Это не учебник — это свод практических правил, рецептов. Не арифметика и геометрия волнуют издателей — арифметика и геометрия в практическом приложении для навигаторов. «Делай так!» — вот неписанный лозунг учебников петровских времен. И эта категоричность лучше всего показывает нетерпение самого Петра I. Только к концу жизни он стал думать о развитии наук *вообще*. А сначала ему нужны были не школа как таковая, а умеющие люди: навигаторы, архитекторы, мастера горного дела. Путь от первых знаний до знаний сугубо специальных измерялся одной-двумя книгами вроде «Арифметики» Магницкого. Быть может, ни в какие другие времена учение не подчинялось в такой степени сиюминутной нужде в специалистах.

Хорошо это или плохо? Истории такие вопросы задавать бессмысленно: историю переделать нельзя. Хорошо или плохо — это было так. И в том, как оно было, как зарождалось учение, мы ищем ответы на вопросы, которые интересны и сегодня.

Для чего человек учится?

Человек учится прежде всего потому, что его мучит любознательность, инстинктивная тяга к знанию. Это — внутренние побуди-

тельные причины. От природы они есть у всех, но в иных людях они развиваются, в других — заглушаются обстоятельствами.

Человек может учиться и потому, что его принуждает к учению житейское здравомыслие: не выучившись, он не сможет занять в жизни то положение, которое хотел бы занять. Это — внешние побуждающие причины. Они так же сильны, как внутренние. Когда внешние побуждения развивают природную любознательность, эти два двигателя творят чудеса, делают человека невероятно способным. И сколько бы ни путешествовали мы по истории школы, в каком обличье школа ни представляла перед нами, мы всегда увидим две эти причины. Всегда есть *тяга* к знанию и *нужда* в знании.

Петр I как будто специально был поставлен историей к истокам нашего современного образования, чтобы продемонстрировать эту мысль. Чтобы яснее были первопричины всякого знания. Ни в ком практическая потребность в знаниях и природная любознательность не проявились с такой бурной силой, как в Петре.

Петр на верфях работает плотником; сидит, согнувшись, в тесной каморке над залом английского парламента — слушает речи ораторов; спускается в шахты, посылает одну экспедицию узнать, куда впадает Амударья, а другую — найти путь в Индию; измеряет глубину рек и переписывается с философами... Он учится каждый день своей жизни, но учится для того, чтобы приобретенные знания тут же претворить в указ, в распоряжение, в дело. Считается, что он перестраивал Россию на европейский лад, но ни в одном его действии не найдете подражательства: то, что он вводил, было для него прежде всего разумным, а потом уж европейским или азиатским.

Он не стеснялся мелочей, ибо он не стеснялся учиться, не стыдился учиться. Учиться — значит покорить в себе гордыню, признаться в невежестве. Этот необузданный, своенравный человек, царь, император, владелец огромных территорий и хозяин миллионов людей, не останавливавшийся ни перед чем и никого не боявшийся, этот человек лишь в одном не знал гордости — в учении, лишь перед одним послушно склонял голову — перед знанием. Петра жгло любопытство. Не случайно его всю жизнь тянуло к монстрам, кунсткамерам, «раритетам» — редкостям. Но это было деятельное любопытство. Петр отличается от многих других русских царей, как пушкинский царь Гвидон отличался от царя Салтана. Салтан, услышав диковинный рассказ корабельщиков, «дивится чуду», вздыхает, в

изумлении качает головой: «диву царь Салтан дивится». Единственное, на что он способен, — отправиться обозреть чудеса собственными глазами, да и то никак не соберется. У Гвидона же другая реакция: ему необходимо немедленно завести точно такое же чудо у себя.

Диво б дивное хотел
Перенести я в мой удел.

А иначе — «грусть-тоска его съедает».

Два принципиально отличных отношения к жизни, к знанию, к удивительному в жизни. Зевака и деятель. Петра съедала «грусть-тоска» по чудесам, которые есть в мире. Он не мог передать другим свою жажду к учению, но он старался создать такие обстоятельства, чтобы людям было необходимо учиться. И он создавал их. Полтора века спустя историк Погодин писал:

«Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года — Петр Великий велел считать годы от рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января. Пора одеваться — наше платье сшито по фасону иностранному, данному Петром Первым. Сукно выткано на фабрике, которую завел он; шерсть настрижена с овец, которых развел он; попадает на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный. Приносят газеты: Петр Великий их начал. Вам нужно купить разные вещи — все они, от шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам о Петре Великом: одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге».

Все эти нововведения сами по себе принуждали людей приспособляться, учиться в той или иной форме, а тех, кто не хотел учиться, Петр заставлял батогам, плетью, угрозой разоренья. Дворянский сын не учится? Значит, и не женись. И вот архиереям запрещено давать «памяти венчальные», то есть венчать без разрешения из школы. Укрывается от службы, от училища? Отобрать имение! А чтобы указ сей был действенным, пояснение: кто донесет об уклоняющемся от учения дворянском недоросле, тому его имение и отходит, даже если это холоп.

Плоды деятельности Петра необозримы. По сравнению с ним обычные люди представляются лилипутиками. Может быть, Свифт и писал своего Гулливера с Петра? Мысль о Гулливере сразу приходит в голову, когда видишь в Эрмитаже огромный камзол Петра или невероятных размеров сапоги, сшитые им самим. Кстати сказать, Свифт действительно мог видеть Петра во время пребывания царя в Англии. Может, видел? Может, он и поразил его? Конечно, домысел, но он кажется достаточно симпатичным, чтобы поделиться им...

Гулливеру в сане императора все удавалось, и лишь в одной области его деятельность не принесла сколько-нибудь заметных результатов. Эта область — образование народа. Хотя при нем и предлагали ввести всеобщее обязательное начальное обучение, хотя за год до смерти Петр и дал указ о том, чтобы при городских церквях устраивали начальные школы для детей разных сословий, — все осталось на бумаге.

При взятии Мариенбурга Петр поступил так, как стало обычным поступать лишь в XX веке: в качестве трофея он увез ученого, пастора Глюка. В 1705 году пастор Глюк открывает в Москве гимназию. Это было странное заведение: в нем учили семи иностранным языкам, танцевальному искусству, рыцарской конной езде и вообще всему — «каких наук кто похощет».

Гимназия Глюка просуществовала всего десять лет. В те времена выяснилось, что проще заложить и построить город, чем школу.

Позже Ломоносов, добиваясь осуществления одного из своих проектов по части образования и предвидя многие трудности, воскликнет: «Но разве легче было перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц?» Оказалось, легче.

Крепость под названием «Народное образование» не сдалась первому приступу. Да, собственно говоря, Петр и не штурмовал ее. Он лишь подошел к ней, лишь увидел ее, лишь начал готовиться к осаде, лишь заронил самую первую мысль: а не завести ли нам и это чудо в «своем уделе»? Узнав из газет, что какой-то Орфиреус изобрел вечный двигатель, Петр зовет известного немецкого ученого Христиана Вольфа вступить на русскую службу на каких угодно ему условиях, лишь бы только усовершенствовал изобретение Орфиреуса. Вольф, уклончиво отвечая насчет вечного двигателя, запросил за службу столько, что Петру побоялись доложить о его требовании. Обратились к самому «изобретателю» Орфиреусу. «На одной сторо-

не положите 100 тысяч ефимков, а на другой я положу машину», — заявил пройдоха. Казалось бы, что из этой затеи выйдет? Но никакое действие не остается бесполезным.

Эти переговоры послужили толчком к созданию Академии наук — лучшего «вечного двигателя», какой только можно изобрести. На одном из документов Петр наложил резолюцию: «Сделать академию» — как вещь сделать. Как стол или как корабль. И вот в Россию едут Леонард Эйлер, братья Николай и Даниил Бернулли — серьезные ученые, и, пока не построено здание академии, им отводят дом покойной царицы и нанимают эконома, чтобы гости не ходили по трактирам, не обучались непотребным обычаям и в забавах «времени не теряли бездельно».

Петр не дождался открытия академии. На его похоронах Феофан Прокопович, один из самых образованных людей того времени, говорил потрясенный: «Что се есть? До чего мы дожили, о Россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!»

Но в тот же год (1725) в Петербургской Академии стали читать первые лекции. Позже Петра упрекали, что он начал дело образования «сверху» — с академии. Дескать, надо было — с народной школы. Но история показала правоту Петра: к тому времени, когда были созданы условия для первых народных школ, в России была авторитетная наука, большие ученые, серьезные учебные заведения, которые могли дать учителей. Петра уговаривали не устраивать лекций в академии, сделать ее просто собранием ученых, как в заграничных академиях. Петр не послушался советчиков. Его академия должна была создавать не только науку — ученых.

Академия открылась. Однако лекции читать было не для кого — подготовленных студентов не имелось.

Что ж, выписали из-за границы и студентов. Приехало их не так уж много, а именно: на первых порах 8 человек. На 17 профессоров — 8 студентов. Профессора стали ходить на лекции друг к другу.

Кто хочет учиться, не должен бояться первого шага, каким бы ничтожным или смешным он ни казался. Потому что — повторимся: никто не может сказать, что из этого шага выйдет.

Двадцать лет спустя в академии, основанной Петром, появились два первых русских профессора. Один пришел из Астрахани, другой из Архангельска. Тредьяковский и Ломоносов.



Михаил Васильевич Ломоносов был талантливым ученик, великий ученый и добрый учитель.

Глава Вторая



стинное значение Ломоносова оценить почти невозможно. При жизни его, пожалуй, только один Леонард Эйлер, великий математик, догадывался, что состоит в переписке с гением.

Не то чтобы знал, а лишь догадывался, ибо идеи и открытия Ломоносова обгоняли его время на целый век, и ни Эйлер, и никто другой не мог его оценить.

Но и сегодня, после того как все сохранившиеся труды Ломоносова прочитаны, по достоинству оценены и собраны в десяти толстых томах, написаны десятки его биографий и сотни статей о нем, — сегодня оказывается, что нет такого человека, который мог бы *один* охватить и объяснить Ломоносова: для этого нужны специалисты самых разных областей знаний, нужна целая Академия наук.

Пушкин перечислял в свое время заслуги Ломоносова: «Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, Художник и Стихотворец — он все испытал и все проник».

К этому списку можно добавить: Физик, Статистик, Демограф, Лингвист, Географ... и — Педагог.

Ломоносов был крупнейшим русским педагогом-теоретиком и педагогом-практиком: в течение многих лет и до конца жизни он занимал должность директора гимназии — так мы назвали бы ее сегодня, эту должность.

Чтобы понять педагога, мало узнать его взгляды, перечитать его труды. Самый большой вклад каждого педагога в жизнь — это его собственная жизнь, его дело. Именно жизнью и делом человек изменяет мир; сегодня на нас оказывают влияние не слова, произнесенные или написанные двести лет назад, а тот образ человека, который сложился в поколениях.

Какие представления о Ломоносове выносим мы из школьных

лет? Крестьянский мальчик из глухого края, прибревший с рыбным обозом в Москву, поступивший в как будто бы убогое заведение под пышным названием «Славяно-греко-латинская академия», где его шпыняли и дразнили, а потом всю жизнь зло и желчно воевавший с засильем немцев в Академии наук...

Так?

На самом деле все было по-другому.

Быть может, вот то главное, что сделал Ломоносов для школы: он жизнью своей создал образ *идеального ученика*. Образ народного учителя сложился много позже, век спустя после смерти Ломоносова. А у самого начала школы, как источник ее, как идеал, как вызов каждому, кто дерзает учиться, стоит Ломоносов, непревзойденный в этом смысле, один-единственный человек.

Но мы ничего не поймем в Ломоносове, и нам останется лишь преклоняться перед его гениальностью, как перед чудом, если мы не попытаемся узнать: какие же реальные обстоятельства скрываются за этим чудом.

Чудо — опасная штука. Если мы в одном случае восклицаем «чудо!», нам приходится смириться с его отсутствием в тысяче других случаев...

А что, если чуда Ломоносова не было? Что, если в его жизни проявились невозмутимые закономерности? Не лучше ли, не полезнее ли понять их, чем повторять «чудо, чудо»?

Попробуем, используя работы ученых, увидеть другого Ломоносова, — может быть, он полюбится нам еще больше прежнего, привычного?

В старинной биографии Ломоносова (1864 год, автор — академик В. Ламанский) можно прочитать: «...Еще никто из наших замечательнейших общественных деятелей не испытывал в своей юности таких богатых и разнообразных впечатлений, не подвергался такому плодотворному и живительному влиянию, как Ломоносов». По-морье — край неопикуемой красоты и несметных природных богатств. До девятнадцати лет Ломоносов ходил с отцом на большом по тем временам гукоре в дальние шестинедельные плавания, поднимался до 70-й параллели, видел северное сияние и игру китов, ловил треску и смотрел, как добывают соль, слюду и алмазы, как строят корабли, жгут уголь, гонят смолу, ткнут тонкие холстины и плетут кружева — все народные ремесла прошли перед ним. То, что воспитанному в

царских покаях Петру пришлось добывать в специальных занятиях, то Ломоносов естественно и просто получил в юности.

Ломоносов многое дал людям, но он и взял у них многое, имел возможность взять. Талант человека проявляется не только в отдаче, но и в умении брать, переполняться добытым — и щедро выплескивать впечатления, знания, мастерство, постоянно рассеивая их вокруг себя.

Секунд-майор П. И. Челищев, побывавший в Холмогорах в конце XVIII века, оставил описание родины Ломоносова.

«Природа и труды человеческие, — пишет он, — потщились сие место обложить изящнейшим горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и сенокосы... Великое плаванье судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам, звон и шум городской и селений, к тому же изобилие рыб, птиц и всяких для жизни потребностей...»

Это был край не очень грамотный, но в нем имелись свои центры культуры. Неподалеку находился раскольничий монастырь: там школа, там образованные монахи, учившиеся в Киевской академии, там книги, там учили ораторскому искусству, и юноша Ломоносов бывал у раскольников и даже два года разделял их веру. Сюда же, в Холмогоры, приехал ставить школу Иван Каргопольский; он пять лет слушал лекции по философии в Сорбонне, в Париже. Возможно, это именно он надоумил Ломоносова отправиться в Москву, а возможно, кто другой, ибо жители этих мест часто бывали в Москве и Петербурге, имели там свои лавки и конторы. Когда Ломоносов приехал в Москву, ему не пришлось скитаться и бродяжничать — он легко мог найти земляков.

Отец Михаила не был бедняком: он владел несколькими гукорами, ловил много рыбы, торговал ею, перевозил грузы. Довольство свое, по тем местам немалое, он нажил «кровавым потом» (как сам говорил о себе), был предприимчив, сметлив, легок на подъем и, конечно, бесстрашен, как всякий помор. А в то же время «простосовестен и к сиротам податлив, а с соседями обходителен, только грамоте неучен», как говорил о нем знавший его крестьянин С. Кочнев. Вряд ли Михаил слишком уж боялся отца — иначе бы он не решился уйти из дому. Отыскать сына и вернуть ничего не стоило. И если бы семья Ломоносова жила в нужде, неизвестно, сумел бы он выбиться в люди. Пойди убеги из дома, где так нужны твои рабочие руки... Не

возможно! А Ломоносов мог уйти. Кстати сказать, не очень уж нерасчетливо он бежал: прежде паспорт выправил.

Представление о Ломоносове как о дерзком, непримиримом, неуживчивом человеке тоже вряд ли соответствует действительности. Вероятнее всего, он был так же «простосовестен», как и его отец. Уже в Холмогорах «нередко биван был» он сверстниками за то, что хорошо пел в церкви; и в Москве, в академии, его шпыняли «малые ребята», кричали и перстами на него указывали: «смотри-де, какой болван в двадцать лет пришел латыне учиться»; мы знаем также, что когда он получил в заведование академическую гимназию, то, увидев состояние учеников ее, голодных и разутых, он, 47-летний профессор, плакал над ними: как отец его, он был, видимо, «к сиротам податлив». И даже в мелких хитростях, к которым Ломоносов прибегал всю жизнь, чувствуется простоватость. Придя в Москву, он, чтобы поступить в академию, выдает себя за дворянского сына; решив отправиться в экспедицию, он выдает себя за поповского сына и даже приносит в том присягу; а когда надо было жениться, то, чтобы не ударить в грязь лицом перед родителями невесты, Ломоносов спокойно объявляет, что он кандидат медицинских наук. И первые две недуховные книжки, «врата учености», он тоже добыл хитростью: увидев у соседа Христофора Дудина «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого, он не смог выпросить их у старика. Тогда, рассказывает одна из первых биографий Ломоносова, «отрок, пылающий ревностью к учению, долгое время умышленно угождая трем стариковым сыновьям, довел их до того, что выдали они ему сии книги».

Дерзость нужна в науке; в учении же требуется смирение перед наукой... И вряд ли тот, кто не был смиренным, кто не склонялся перед огромностью знания во время учения, — вряд ли сможет он дерзать, когда выучится.

Славяно-греко-латинская академия, куда пришел учиться Ломоносов, вовсе не была таким уж захудалым заведением. В 20-е годы XVIII века в ней учились 300—400 студентов, и все «острые и разумные люди», по словам одного иностранца. В ней учился Василий Тредьяковский, преобразователь русского стихосложения; первый русский баснописец Антиох Кантемир; ее окончил Петр Постников, «первый русский доктор», получивший затем докторскую степень в Падуанском университете. Академия имела богатую биб-

лиотеку, да рядом еще находилась библиотека Печатного двора, где было 3,5 тысячи книг, в том числе много редких, и воспитанникам академии разрешалось посещать библиотеку три дня в неделю, а кому того времени было мало, тот мог оставаться и на ночь.

Стоит добавить, что лишь 30 процентов выпускников этой духовной академии шло в духовенство, а 70 процентов — на гражданскую службу. И что с 1732 по 1748 год академия по требованию начальства четырежды посылала лучших своих студентов в Петербургскую Академию наук, иначе там и вовсе не было бы слушателей.

Учили в Славяно-греко-латинской академии основательно, особенно древним языкам. Не зная латыни, в те времена нельзя было получить серьезного образования: большая часть научных книг издавалась на этом языке. Позже Ломоносов, нападая на одного немца-профессора и обвиняя его в невежестве, будет требовать от него: «Ну, поговори со мной по-латыни!» — «Не могу», — признается бедняга. «Вот то-то же!»

Можно решительно утверждать: не было «чуда» Ломоносова, ибо в области воспитания и образования чудес бывает ровно столько же, сколько и в других областях жизни: нет их. Просто законы воспитания, законы развития человека мы знаем гораздо хуже, чем законы физики или астрономии, а где незнание, там и «чудо». Во все времена ни один великий не вырос сам по себе: кроме природных дарований, всегда сопутствовали ему в юности хорошие книги, хорошие учителя, благоприятные обстоятельства.

Успехи Ломоносова в ученье были очень заметны, его отправили в Петербургскую Академию наук и вскоре послали в Германию — учиться физике, химии и, главное, горному делу. Командированные ехали с приключениями — чуть не потонули по дороге.

Приключений за четыре года заграничной жизни у Ломоносова было немало: тут и полное безденежье, и довольно странный, но впоследствии оказавшийся удачным брак (вот тогда-то он и объявил себя кандидатом наук), и пленение урядником-вербовщиком — Ломоносов чуть не стал было прусским солдатом, да вовремя, хоть и с опасностью для жизни, успел сбежать. Все это сюжеты для остроприключенческого фильма. Но за сюжетами — серьезные занятия, горы прочитанных книг, первые научные работы, ода «На взятие Хотина» — первая известность.

Что образовывает человека? Жизнь и школа. Жизнь дает запас

впечатлений, обостряет любознательность, оттачивает характер. Без впечатлений, любознательности, характера нет учения. Школа дает знания — без них нет ничего. Ломоносов получил самое высокое образование, какое только могли дать ему жизнь и школа.

В 1741 году 30-летний Ломоносов возвращается в Петербург. Годы его службы в Академии наук — это годы огромной научной работы и годы борьбы с засильем иностранцев в академии, за отечественную науку и просвещение. Если прочитать подряд все служебные документы, сохранившиеся в архивах ломоносовских времен, может создаться впечатление, будто он только и делал, что писал жалобы, бранился, скандалил и т. д. Но в документы попадают лишь разного рода неприятности и столкновения, когда появляется нужда писать оправдания и жалобы. Служебная переписка — очень одно-стороннее, необъективное свидетельство о Ломоносове. Тем более, что сообщение о награде или присвоении профессорского звания занимает полстранички, а какая-нибудь история о том, как вышедший из себя Ломоносов «ставил кукиш» почтенному профессору, расплзается на десятки страниц: показания свидетелей, донесения, заключения. К тому же следует иметь в виду, что нравы среди уважаемых профессоров были, мягко сказать, простоватыми. Вот академик Миллер требует признать его негодную диссертацию: «Каких же не было шумов, браней и почти драк? Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахи-вался в собрании палкою и бил ею по столу Конференцскому». Хитрый Шумахер, управляющий всеми делами академии, «бич профессо-ров», осторожно намекал в одном письме: всему, дескать, причиной «характеры, некоторым академикам сверх профессорского их досто-инства данные», и выражал надежду, что Ломоносов сам сломит себе шею: «...отважный и гордый быстрее стремится к цели, однако час-то, при смелых скачках, падает в пропасть, где и погибает».

Коварный расчет не всегда бывает неверным. Ломоносов действи-тельно навлек на себя гнев сильных, так что перед концом жиз-ни был даже на время отставлен от всех должностей и не мог появ-ляться в академическом зале конференций. Но он оставался «отваж-ным и гордым», — не про многих людей так говорили их враги.

Ломоносов был дерзким в науке и гордым в обращении с силь-ными. Он не просил должностей, окладов, орденов — он требовал их, ибо он чувствовал себя послом великой державы в стране науки.

Обычный человек может и снести невнимание к себе, но посол — посол обязан добиваться уважения, ибо он представляет целый народ. Ломоносов вычеркивает свое имя в длинном списке академиков: его не устраивает место в списке, и на глазах у академии ставит свое имя первым. Он должен быть в первом списке, он имеет на это право! За год до смерти он пишет письмо графу Федору Орлову, требует ордена или чина, доказывая, что в Швеции профессор Линней имеет «кавалерию Северной звезды», в Париже Домеран — орден святого Людовика... И он, Ломоносов, русский ученый, тоже должен быть уважен.

Вот чего он добивался: чтобы для Шувалова, Орлова, Шумахера и других слова «русский ученый» звучали так же уважительно, как «шведский ученый» или «немецкий ученый», чтобы они поняли — русская наука уже родилась, существует и развивается, поскольку есть он, Ломоносов. Он может показаться нескромным человеком, если не понять смысла его борьбы, целей его жизни. Будь Ломоносов слишком высокого мнения о своей особе, он, наверно, довольствовался бы тем, что сделал во многих науках. Но в каждой науке он растит учеников. Ему мало Ломоносова, ему нужны именно Ломоносовы: он мечтал подарить стране не просто научные свои открытия — самого себя, повторенного, воспроизведенного десятки раз. Он убежден, что таких, как он, может быть много. В этом истинная скромность величия!

«Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожденное течение Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы...»

Он хлопочет о создании Московского университета, составляет для него «регламент», делает щедрый вклад в его основание — посылает профессорами лучших своих учеников. В день открытия университета в 1755 году в Москве был фейерверк. Прославляли императрицу Елизавету и Шувалова. О Ломоносове не вспомнили. Но первый русский университет — его детище, и сейчас он принял его имя, как сын принимает фамилию отца.

Когда университет был открыт, Ломоносов берется за гимназию, прозававшую при Петербургской Академии наук, и в короткое время гимназия передает в академию 20 студентов (а до того ее десятилетиями никто не кончал). Ломоносов пишет подробнейший «регламент» для гимназии, разрабатывает правила для учеников и для учи-

телей. Никто так много не учился среди современников Ломоносова, и никто так трудно не учился, — кто же может лучше его знать, как надо учить? «Гимназия, — пишет он, — является первой основой всех свободных искусств и наук. Из нее, следует ожидать, выйдет просвещенное юношество...» И в письме Шувалову о Московском университете: «При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян».

Один из профессоров сделал замечание на представленный Ломоносовым «регламент»: мол, 60 гимназистов и 30 студентов — излишние казне тяготы. Куда столько гимназистов девать? Ломоносов был разъярен.

«Его ли о том попечение? — возмущается он. — Ему велено было смотреть регламент, а не штат... Мы знаем и без него, куда в других государствах таких людей употребляют и также куда их в России употребить можно».

И, вот так воюя, Ломоносов в то же время сам учил студентов, сам ходил в гимназию, следил за тем, как кормят гимназистов, сколько дают им на обед, сколько на ужин, как учат их, каковы их успехи...

Волнуясь, тщательно, буква к буквке, переписываешь письмо Ломоносова к сестре, — только одно такое письмо и дошло до нас, и по нему мы можем увидеть *живого* Ломоносова. Спадает налет официальности, меняется язык, меняются интонации — добрый, ласковый человек приходит к нам через два века, человек, нежно любящий детей...

Письмо это написано за месяц до смерти. Ломоносов пишет о племяннике, Мишеньке Головине.

«Государыня моя сестрица, Марья Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и с детьми.

Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санктпетербург в добром здоровье и что умеет очень хорошо читать и исправно, также и пишет для ребенка нарочито. С самого приезда сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки и совсем одет с головы и до ног, и волосы убирает по-нашему, так чтобы его на Матигорах не узнали. Мне всего удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как бы век у нас жил, не показал никакого виду, чтобы тосковал или плакал. Третьяго дня послал я его в школы здешней Академии наук, состоящие под моею коман-

дою, где сорок человек дворянских детей и разночинцев обучаются и где он жить будет и учиться под добрым смотрением, а по праздникам и по воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочно смотреть, как он в общегитии со школьниками ужинает и с кем живет в одной камере. Поверь, сестрица, что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный. Также и хозяйка моя и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет. И с истинным люблением пребываю брат твой Михайло Ломоносов».

Не отвлеченная идея необходимости образования, а сочувствие детям, способность любоваться ими и радоваться за них, сознание, что они «через учение счастливы будут», — вот основа педагогики Ломоносова. Для него знание — гордость страны и в то же время — счастье человека.

Ломоносовскую формулу «Через учение — к счастью» можно большими буквами выложить на фронтоне каждой школы.

И что же было судьбой Мишеньки Головина?

Он вырос, выучился, стал большим математиком; юношей он помогал полуслепшему Эйлеру в его трудах, а потом и сам написал несколько учебных книг, стал первым русским методистом в математике, был избран почетным членом Академии наук. «Через учение счастлив будет...»

Среди рукописей Ломоносова нашли записку, ни к кому не обращенную. К самому себе. Или к потомкам?

«Я не тужу о смерти, — писал в минуту задумчивости Михаил Васильевич, — пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют».



Тригорий Саввий Сковорода всю жизнь
странствовал, но не принимал по-
даяний, а сам раздавал богатей-
шие мысли, знания

Глава третья



слепительным вулканическим извержением выбился из народной толщи Ломоносов, а где-то в глубине, невидимая на поверхности жизни, клокотала стихия, рвавшаяся к знанию, — Ломоносов и был рожден ею. То в одном, то в другом селе появлялся отставной солдат-инвалид, мелкий чиновник, лишившийся места и попавший в нужду, набирали крестьянских ребятишек и начинали учить их за небольшую плату — возникала еще одна «школа мастера грамоты». Испокон веков сохраняла она скудное крестьянское образование на Руси и продержалась до середины XIX века. Рядом с нею открывала школу дворцовая канцелярия для подготовки разного рода мастеров, от коновала до архитектора; Адмиралтейство устраивало свои училища, так называемые «русские школы»; на Уральских заводах обучали детей фабричных арифметике, геометрии, основам горного дела и «науке знаменования» — черчению и рисованию; богатый князь перестраивал именье свое на европейский лад, заводил школу с полным содержанием учеников, приставлял к ним вдову или солдатку для стола их приготовить, сирот обшить и платье вымыть, выдавал овчинные шубы да суконные кафтаны, сермяжные штаны да холстинные рубашки, шейные да носовые платки — и заодно покупал замок к цепи «для сажания школьников». Но самую большую часть этих школ-невидимок надо искать при церквях. В первой половине века в стране было 16 тысяч приходских церквей, и почти при каждой из них дьячок учил ради дополнительного заработка хоть несколько детей; да еще духовные училища и семинарии сотнями поставляли грамотеев для светских учреждений.

Все эти крошечные школы и школки — крестьянские, гарнизонные, монастырские, городские, фабричные, приходские, — никем не

учтенные, ни в какие реестры не занесенные, без ведома правительства и без каких бы то ни было понуждений стихийно возникали, закрывались, потом открывались вновь и постоянно выплескивали на общественную арену тысячи грамотных молодых людей, мечтавших продолжить образование. После первого выпуска в гимназию при Московском университете приняли еще 40 человек, и почти все сплошь дети солдат, мелких приказных, священнослужителей, купцов, и все они пришли в гимназию грамотными, все мечтали стать Ломоносовыми. Время от времени происходил новый мощный всплеск этой тяги к знанию, и вновь высоко поднимался человек, вобравший в себя таланты целого народа.

Григорий Сковорода — вот еще один из таких людей, во многом схожий судьбой с Ломоносовым, из того же корня выросший.

Ломоносов рвался вверх, к славе, и крепко держал ее в своих руках. Сковорода бежал от славы, она догоняла его. Перед смертью он просил написать на могиле: «Мир ловил меня, но не поймал...» Его просьбу исполнили, но спустя десятилетия оказалось, что Сковорода все-таки принадлежит миру.

Этот отшельник, «подвижник истины», всю жизнь скитался, и всюду к нему шли люди, потому что видели в нем учителя. Он и был учителем, но не в школьном, а в другом смысле слова: он учил не грамоте, а жизни. Искусству мудрой жизни. Не занимая никаких постов, он был так знаменит, что еще в XVIII веке составили и опубликовали его биографию — «Житие Сковороды».

Родители Сковороды были «из простолюдства: отец казак, мать такого же рода. Они имели состояние мещанское посредственно-достаточное». Григорий Саввич родился в 1722 году под Лубнами; он на одиннадцать лет моложе Ломоносова. Путь, по которому человек выдвигается из неизвестности, из обычной рутины жизни, иногда бывает довольно причудливым. С маленьким Сковородой случилось вот что: он хорошо пел и попал в придворную певческую капеллу при дворе императрицы Елизаветы. Позже то ли кто-то обратил на него внимание, то ли участие в столь высокопоставленном хоре послужило ему рекомендацией, но Сковороду приняли в Киевскую академию. Он закончил ее и, подобно Ломоносову, отправился за границу. Ломоносова интересовали науки естественные, Сковороду — философские. Он был одним из первых философов на Украине.

Сковорода исходил пешком Венгрию, немецкие земли, слушал

лекции в нескольких университетах. Он знал латынь, греческий, древнееврейский, немецкий и, бродя по чужим землям, немало видел и немало читал, да притом с выбором читал. Позже он напишет: «Если наш век или наша страна имеет мудрых мужей гораздо менее, нежели в других веках или сторонах», то виною тому вот что: мы «шатаемся по бесчисленным и разнородным книг стадам без меры, без разбора, без гавани». Сам Сковорода знал меру, разбор и гавань: он читал Платона, Аристотеля, Демосфена, Вергилия, Горация, Цицерона, читал и ученых нового времени — Декарта, Спинозу, Лейбница, Коперника и Ньютона. Вернулся на родину «наполнен ученостью, сведениями и знаниями...»

Подходя к селу, где он родился, Григорий прежде зашел на кладбище. И там, на свежих могильных крестах, он обнаружил имена и отца и матери... Сковорода вновь пустился бродить по свету.

Слух об его учености прошел по округе. Его пригласили учителем поэзии в Переяславль. Сковорода согласился, даже написал «Рассуждение о поэзии». Но рассуждение не понравилось начальству, Сковороде попросили кое-что переменить. Он отказался; пришлось уйти. Был он и учителем в разных заведениях и разных домах, преподавал благонравие в Харьковском училище, отказавшись при этом от жалованья: «удовольствие учить, — сказал он, — больше оклада...» Но всюду он как-то не приживался. Да и как мог прижиться человек, начавший свою первую лекцию словами: «Весь мир спит... Спит, глубоко протянувшись... А наставники... не только не пробуживают, но еще поглаживают: «Спи, не бойся, место хорошее, чего опасаться!»

После такой лекции Сковороде пришлось уйти, — он был бодрствующий среди спящих. Бодрствующий духом. Наконец он нашел себе достойное место под Харьковом.

«Оное (место), — пишет друг Сковороды, — покрыто угрюмым лесом, в середине которого находился пчельник с одною хижинкою. Тут поселился Григорий, укрываясь от молвы житейской и зловыйй духовенства». Тут он начал слагать свой «Сад божественных песней».

Молва за Сковородой ходила всякая: славная — о его большой учености и прекрасной душе и худая — что он еретик.

Как же не еретик: не ест мяса и не пьет вина. Еретик.

И добрая и худая слава распространилась о нем во всей Укра-

ине и Новороссии, продолжает биограф его и друг М. И. Ковалинский. «Многие хулили его, некоторые хвалили, все хотели видеть его».

Кто-то из древних мудрецов говорил: уединенный должен быть или царь, или зверь. Сковорода был царем в уединении, царь знания. Сын казака был самым образованным человеком того времени. Он жил один, писал свои философские работы, играл на скрипке, флейте, бандуре, гусях (он очень хорошо играл и сам сочинял музыку). Писал письма друзьям: эти письма и послужили потом главным источником сведений о Сковороде и его взглядах.

Хотели Сковороду сделать священником. Он притворился сумасбродным — «переменял голос, стал заикаться». Обманутый архиерей, признав его неспособным к духовному званию, позволил ему жить где угодно.

Предлагали ему постричься в монахи, говорили, что он будет «столбом церкви».

— Ах, преподобные! — отвечал Сковорода. — Я столботворения умножать не хочу, довольно и вас, столбов неотесанных, во храме божем... Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествоуйте.

Харьковский генерал-губернатор Евдоким Щербинин призвал к себе Сковороду:

— Честной человек! Для чего не возьмешь ты себе никакого известного состояния?

— Милостивый государь, — отвечал Сковорода («ответствовал» — стоит в подлиннике), — свет подобен театру: чтобы представить на театре игру с успехом и похвалою, то берут роли по способностям... Я долго рассуждал о сем и по многом испытании себя увидел, что не могу представить на театре света никакого лица удачно, кроме низкого, простого, беспечного, уединенного: я сию роль выбрал, взял и доволен.

Наконец (некоторые истории очень похожи на сказку) об учености отшельника прослышала Екатерина II. Может, это и легенда (первый, самый достоверный источник об этой истории не упоминает), но легенда правдоподобная.

Итак, Екатерина услышала об учености бывшего хориста и поручила Потемкину пригласить Григория Саввича переехать в Петербург. Потемкин послал своих людей. Посланные застали Сковороду

в открытом поле: он сидел, играя на флейте; перед ним паслись овцы хозяина, у которого он гостил в то время. Передали ему приглашение императрицы. Скворода выслушал людей и отвечал:

— Скажите матушке царице, что я не покину родины.

И больше от него ничего не добились.

Но Скворода недолго был отшельником; в скором времени он пустился в путешествие по Украине. Тут будет правильным передать слово одному из первых его биографов — Гесу де Кальве.

«В крайней бедности переходил Скворода по Украине из одного дома в другой, учил детей примерам непорочной жизни и зрелым наставлениям. Одежду его составляли серая свита; пищу — самое грубое кушанье. К женскому полу не имел склонности; всякую неприятность сносил с великим равнодушием. Проживши несколько времени в одном доме, где всегда ночевал в саду под кустарником, а зимой в конюшне... пускался дальше. Никто, во всякое время года, не видел его иначе, как пешим».

Другой биограф — Срезневский: «Он мог бы составить себе подарками большое состояние. Но что ему ни предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывался, говоря: «Дайте неимущему», а сам довольствовался только серой свитой».

Когда Скворода приходил в чей-нибудь дом, со всех сторон стекались к нему люди, приезжали специально, чтобы повидать Сквороду и поговорить с ним.

Был в Древней Греции философ Сократ; он вел такой же образ жизни. Целыми днями ходил он по площадям и проповедовал свои взгляды, спорил с философами в окружении людей, но никогда ни к кому не нанимался в учителя, не был ни на какой должности, ибо считал он: если займешь должность, то может случиться, в каких-то делах придется пойти против совести, а против совести он пойти не мог.

Скворода, конечно, читал диалоги Платона о Сократе; он говорил о себе, что «восхотел быть Сократом на Руси».

— Учитель — не учитель, — проповедовал он, — а только слушитель природы.

Эти слова можно объяснить так: учитель должен развивать то, что заложено в человеке. Очень важно было сказать это в те времена, когда все считали, что учитель должен вдолбить знание в сопротивляющегося мальчишку.

Если проследить движение педагогической мысли в течение столетий, то окажется, что борьба идет вокруг одного и того же вопроса: можно ли полагаться на собственные силы ученика, и если можно, то в какой степени? Коротко говоря: учить или натаскивать? Вдалбливать или развивать? Сковорода считал: учить, и при том всех.

«Знание не должно узить своего изливания на одних жрецов науки, которые жрут и пресыщаются, — писал Сковорода неустоявшимся, странным для современного человека, однако очень ярким языком, — но должно переходить на весь народ, войти в народ и водвориться в сердце и душе всех тех, кои имеют правду осознать: и я человек, и мне, что человеческое, то не чуждо!»

Ему страстно хотелось допытаться, где же кроется человеческое счастье? Где искать его?

Может, бог поместил счастье где-нибудь в Америке? Или, скажем, на Канарских островах? Или в азиатском Иерусалиме? А может, счастье спрятано в царских чертогах? Или затерялось в пустыне? А может, оно не где-то, а в чем-то — в чине, в науке, в здравии?

Но если так, то можно ли родиться всем в одном месте? Или в одном времени? Или в одном чине и статье? Кто доберется до тех счастливых мест и счастливых чинов?

— Нет, это неправда, — рассуждает Сковорода. — Не ищи счастья за морем. Ищи только нужного, оно одно только и благое и легкое, а прочее все труд и болезнь.

Почти тридцать лет ходил он по хатам и торжищам в своей серой свите и всюду проповедовал — у кладбища, на паперти церковной, на празднике...

— Всякий должен узнать свой народ и в народе себя, — говорил он собравшимся возле него. — Русь ли ты? Будь ею... Все хорошо на своем месте и в своей мере, и все прекрасно, что чисто природно, то есть не подделано, не подмешано, но по своему роду.

И всюду он прославлял науку.

Слава физике! Она положила, что все тела суть только состав элементов.

Слава математике! Она измерила небеса, горы и воду рек и морей.

Слава астрономии! Она предсказала затмения.

Химия, анатомия, медицина — одну за другой перебирает Ско-

ворода науки в своем уединении, не имея под рукой книг, а только справляясь с огромной своей памятью, с острым чутьем человека, живущего в своем времени, сегодняшним днем и завтрашним. «Електризация», которая пока что просто «зрелище любопытства, без сомнения, делается источником выгод», предсказывает этот мудрый пустынный.

Друг его — М. И. Ковалинский красиво сказал о Сковороде: он был набожен, но не суеверен; учен, но не кичился ученостью; обходителен, но без лести.

Ковалинский описывает и смерть Сковороды — в духе житий святых или под влиянием рассказа Платона о смерти Сократа. Вечером Сковорода спокойно работал в саду, потом сказал близким: «Завтра я умру»; пришел домой, лег и наутро спокойно умер, заведя похоронить его на возвышенном месте около рощи и гумна и написать на могиле:

«Мир ловил меня, но не поймал».

И вот несколько неожиданный (или, наоборот, естественный) исход его жизни: после смерти друзья и ученики Сковороды сложились и внесли больше полумиллиона рублей на основание университета в Харькове. Он был открыт в 1804 году, через десять лет после смерти Сковороды.

Один университет дал стране Ломоносов, другой — Сковорода. Университеты учреждались властями, но вырастали они из тех школ и школок, что бурлили в недрах народной жизни. Разве мог бы существовать хоть один университет, если бы не тысячи и тысячи безвестных бродячих и оседлых мастеров грамоты, учителей жизни, иногда полуобразованных, иногда таких ученых, как Сковорода?

И здесь, пожалуй, пора начать самый важный в этой книге рассказ — о них, об этих безвестных учителях.

Лета 1763 года приде в село Мологино некий учитель Алексей Раменский нареченный из Москвы-града и да помнят почал он творити дела и школу для народа создаша и жизни своей пятидесяти лет сему делу положивши.

Радуйся обучивый многих селян наших. Да благословит тя бог.

Первая запись в семейной хронике учителей Раменских.



ловно памятник *Неизвестному солдату* — *Неизвестному учителю* — старинная книга, сбереженная милостивой случайностью до наших дней: «*Всеобщий секретарь, или Новый и полный письмовник*», издание 1811 года. Полтораста лет назад эту книгу, с надписью, приведенной выше, подарили учителю его ученики и почитатели, грамотные крестьяне села Мологино, что в Тверской губернии. Книга эта много путешествовала: из Мологина — в Симбирск, из Симбирска — в Пермь, из Перми — в Москву, из Москвы — в Калинин, где и хранится теперь в областном музее как редкое, уникальное — едва ли не одно на всю Россию! — свидетельство. Книга была не раз потеряна, скрывалась из виду, отлеживалась на чердаках, чуть не погибла, не умерла, как умерли все ее прежние владельцы, и все-таки нашлась, чтобы на двух страницах своих, заполненных короткими записями-справками (каждая запись другой рукой), рассказать историю Рядового учителя, Вечного учителя. Историю, которая ставит имя Раменских в один ряд с самыми большими именами в русской педагогике.

В конце концов, каждый, даже самый великий человек, был когда-то, в молодости, неизвестен... И если слава приходит к Раменским через двести лет после начала их деятельности, в этом ничего удивительного нет, ибо Раменские живы и сегодня, и еще долго, многие сотни лет будут живы. Их слава не по-смертная, а прижизненная.

Алексей Раменский, создавший школу для народа в селе

Мологино, ее Петр I и ее Ломоносов, умирая, передал школу своему сыну, Алексею Алексеевичу. Тот, в свою очередь, передал ее своему сыну — Пахому, потом она перешла к сыну Пахома — Николаю, от него — к его детям, в частности к сыну Аркадию, вышедшему на пенсию в 1952 году.

В начале цепочки — 1763 год, в конце (не в конце!) — 1952 год. И всего пять человек — пять учителей, — взявшись за руки, образовали ее, эту цепочку, протянувшуюся через два столетия, из XVIII века в середину XX. Пять человек, пять долгих жизней, пять мгновений.

Проследим, насколько это возможно, каждую из этих судеб, слившихся в одну. Рассказ этот — с перерывами, ибо историю Раменских нельзя понять, если не знать истории педагогики. Так же, как и сама-то история школы будет не ясна без истории Раменских. Науку развивают гениальные ученые, литература расцветает под пером великих писателей и поэтов, школа улучшается великими педагогами. Но если понятие «рядовой поэт» или «рядовой писатель» могут вызвать сомнения, то «рядовой учитель»...

Школа живет рядовым учителем.

И потому сразу вслед за Ломоносовым и Сковородой — рассказ об Алексее Раменском.

Итак, 1763 год. Ломоносов еще жив, хотя и очень болен, хотя дни его сочтены. Но уже становится на ноги созданный по его плану Московский университет, и из дома первого директора его, Аргамакова (так рассказывает предание), выходят два юноши, два брата лет по восемнадцати — двадцати. Один отправляется на юг — на Украину, другой на север — под Тверь, в село Мологино. Там его ждут: с ним уже сговорились молодинские крестьяне, привозившие в Москву лен на продажу английским купцам.

И так же, как Ломоносов, пришел с обозом в Москву; и в том же примерно возрасте, в каком был Ломоносов, с санным обозом, то на пустых мешках из-под льняного семени, то бегом за розвальнями, пришел из Москвы Алексей Раменский. Один в Москву — за наукой, другие из Москвы — с наукой. Брат — в Тверь, другой — на Украину. Через сто пятьдесят лет украинские учителя Роменские пришлют приветствия тверским учите-

ляж Раменским... Так по тропинкам, по проселкам, по санникам, по большакам расходилось знание по России, циркулировало, передавалось от академика к учителю, от учителя — к будущим академикам, и все вместе они — академик и учитель — всё увеличивали и увеличивали это общее богатство знания.

Мы очень мало знаем о первом Раменском: год, когда он пришел в Мологино, и год, когда ушел в отставку по старости; знаем, что в доме Аргамакова познакомился он с Радищевым (Раменский был, вероятно, старше его по крайней мере лет на пять-шесть), и еще знаем, что он выучил своего сына и передал ему школу. Всё.

Но мы можем представить себе, как день за днем, год за годом, столетия по деревенской улице, мимо старых берез, по низкому берегу спокойной реки Итомли, каждое утро, затемно, в седьмом часу, идет к школе высокий прямой человек... Так и видишь его то с юношеской редкой бородкой, то с развевающейся стариковской бородой, но, вероятнее всего, Раменский являлся на урок гладко выбритым, если еще и не в парике, потому что после Петра I и до середины XIX века бороды в России разрешено было носить лишь пашенным крестьянам, священникам да купцам. Москвич Раменский, когда-то пришлый, нанятый, чужой человек в Мологино, постепенно, с годами становившийся своим, приходил в седьмом часу утра в школьную избу, где его ждали двадцать, тридцать, а в иные годы и сорок ребятшек. Он притворял за собой низкую дверь и, помолившись вместе с учениками: «Преблагий господи!», начинал спрашивать зады, рассказывать, объяснять, очинивать перья для малолеток; грозно окликал непослушного и ставил его в угол, на горюх; задавал задачки тем, кто уже и до арифметики добрался; писал мелом на доске, когда такое новшество появилось в школе — доска с мелом. День за днем, год за годом, десять, двадцать, тридцать лет входил Раменский в школу, наклонялся к тетрадкам учеников, ворчал себе что-то под нос, улыбался, смешил детей, приносил с собой деревянную клетку, а в ней снегирь — красное брюхо, и весной, выйдя в толпе детей во двор, выпускал птицу на волю, как заведено, и смотрел ей вслед, задрав голову к синему небу, к белым облакам.

Бесконечна смена дождливых октябрей, вьюжных декабрей, журчащих апрелей... Нескончаема вереница глазастых и бойких мальчишек в лаптях, валенках, чунях, сапогах, а летом так и вовсе босых... Мерно жужжит класс, продираясь через трудные «буки-аз — ба, буки-есть — бе, буки-уже — би...». Кто долбит слоги, кто уже читает, спотыкаясь на хитроумных титлах-сокращениях, а кто, отчаявшись, беззвучно молится, взывает к святому Сергию Радонежскому: он должен помочь, ведь он и сам в детстве был «косным на понимание». Ко всем святым угодникам, заступникам за людей, взывают и учитель, и ученики его: пусть помогут преодолеть трудную азбуку, выучить и выучиться искусному чтению по книге и писанию на бумаге... Грамотный не пропадет, грамотного — нарасхват. Хоть псалтырь над покойником прочитает за плату, и то доход.

Наконец наступает день, когда кто-то из учеников осилит первую книгу, научится читать ее и в знак благодарности принесет довольному своему учителю полтину денег и обернутый в платок горшок с молочной кашей — таков порядок, в древности заведенный. После урока все ученики соберутся вокруг горшка, достанут ложки и вмиг опустошат горшок, выскребут, а виновник торжества ложкой же бьет их по рукам под смех всего класса и учителя и всей его семьи, собравшейся на торжество. Потом пустой горшок вынесут на середину двора и станут бросать в него палками, а кто изловчится разбить, тот беги: догонят — надерут уши всей оравой...

Переменивается книжка на книжку, за азбукой — часослов, за часословом — псалтырь, звенькают черепки разбитых горшков, и рой за роем отлетают ученики, а Раменский продолжает свой путь вдоль Итомли, в класс, к доске... С каждым годом он становится все немогшее, все чаще кряхтит на уроке, а то и задремлет, на радость мальчишкам, заснет, уткнувшись головой в грудь, и вздрогнет, и окинет класс грозным подозрительным взглядом: не замечен ли его старческий грех?

И вот однажды он не идет в школу. Непривычно остается с утра в избе. С высокого крыльца, придерживаясь рукой за столбец, провожает глазами старшего сына: сам он его и выучил, сам вырастил, сам зимними вечерами читал с ним и внушал ему высокие мысли о назначении учителя на земле, при-

зывая на помощь для убеждения то священное писание, то имена славных ученых людей...

Потом похоронят старика, всем селом понесут на руках гроб до погоста, славя память учителя, принесшего свет в эти края, и останется за старшего в доме и в школе его немолодой уже сын, начинавший учительствовать в соседнем селе, а теперь переведенный в Мологино, в отцовскую школу. И вновь потянутся годы, отсчитывая жизнь нового учителя, и вновь, когда придет срок, состоится передача школы следующему Раменскому, и следующему, и так сто пятьдесят, двести лет.

...Но здесь мы пока что прощаемся с Раменскими. Еще только середина XVIII столетия, Алексей Раменский-отец идет на первый свой урок. Да он еще и не отец вовсе — юноша, он и понятия не имеет, какое дело начинает он и какое дело начинается по всей России. Просто он в седьмом часу утра выходит на тропинку вдоль берега Итомли и идет к своей школе. Рядовой учитель, неизвестный учитель, великий учитель...

Глава Четвертая



сть предание, будто Алексей Раменский вместе со своими учениками в 1767 году отправился в Тверь, чтобы встречать прибывшую в этот город императрицу Екатерину Алексеевну. Похоже на правду: Екатерина II действительно совершала свое первое большое путешествие по стране. Маршрут ее проходил по Волге — от Твери до Симбирска, — а Раменский был учитель молодой, любознательный и вполне мог совершить со своими школьниками недалекую экскурсию для обозрения императрицы. В ее свите было 2000 человек; увидеть такое пышное зрелище интересно было всем; учитель же особенно обязан доставлять своим ученикам возможность получить сильные, яркие впечатления. Далее предание говорит, что Раменский будто бы кланялся Екатерине, просил о пожертвовании на мологинскую школу и что императрица откликнулась на просьбу: кинула учителю медный пятак. Пятак этот сохранился и по сию пору, и сегодня в некоторых работах можно прочесть, что он, этот нищенский пятак, символизирует отношение Екатерины II к просвещению народа.

Трудно оспаривать легенды (может, просто разбрасывала свита мелкие деньги в толпу и кто-то из ребятишек подобрал монету?), и, главное, ни к чему оспаривать легенды, особенно двухсотлетней давности.

Но позеленевший этот пятак наводит на размышление о том, как же на самом деле относилась Екатерина II к народному образованию, что дало ее время для просвещения в России.

Если легко принять версию о пятаке, если не попробовать всерьез разобраться, что же происходило во второй половине XVIII века, то совершенно невозможно будет понять последовавшие за этим временем события. То почти ничего не было: цифирные шко-

лы Петра I позакрывали, учебники пустили на макулатуру — никому они были не нужны; ученики в огромной стране исчислялись официальной статистикой не миллионами, не тысячами даже — сотнями; и вдруг с самого начала следующего века появились десятки гимназий, три университета, довольно широкая сеть училищ. Откуда все это? Откуда, наконец, взялась потрясшая мир русская культура XIX века — замечательные писатели, поэты, музыканты, художники, ученые, инженеры, адвокаты, врачи? Культуры не создать за тридцать лет, она входит в силу стараниями многих и многих поколений.

Какой-то важный сдвиг произошел в екатерининские времена, его нельзя пропустить, оставить незамеченным.

Сдвиг этот состоял в том, что вновь, как и при Петре I, образование дворян и образование разночинцев, купцов, крестьян стало остро необходимым, хотя причины этой необходимости были не те, что во времена Петра, и образование нужно было другого рода.

Екатерина II взошла на престол незаконно: при живом муже-императоре, при подрастающем наследнике (в лучшем случае могла она рассчитывать на то, что станет опекуншей сына Павла, временной правительницей). Удержаться на престоле в стране, где дворцовые перевороты были скорее нормой, чем исключением, и где далеко не всякий властитель умирал своей смертью, было вообще трудно, а чужестранке, беднейшей в Европе принцессе, привезенной в Россию за 18 лет до переворота 1762 года, в спешке обученной русскому языку, наскоро переkreщенной в православную веру, вдвойне, втройне труднее. Екатерина смогла это сделать, смогла относительно спокойно дожить до естественной своей смерти и умереть в Петербурге, во дворце, а не в изгнании, не в отдаленном каком-нибудь монастыре (если не на плахе, как это случилось с ее французской коллегой), только потому, что она умела тонко различать интересы всех, от кого зависела поддержка ее трона.

Пожалуй, чтобы прославиться в веках, честолюбивая эта женщина отменила бы и крепостное право (она говорила об уменьшении зависимости крестьян от помещиков в первом варианте своего знаменитого «Наказа», но, посоветовавшись с близкими людьми, быстро, без споров вычеркнула эти слова и больше никогда о них не вспоминала) и пооткрывала бы в каждом уезде не то что школы — хоть университеты. Но жизнь дороже славы, а трон дороже жизни... Отноше-

ние Екатерины к крепостному праву и к образованию — это не ее личное отношение, это отношение дворянской верхушки, ставшее ее личным отношением, ибо она была талантлива и могла легко воспринимать чужие мысли, если они были полезны ей самой, отвечали ее задаче, главной задаче каждого самодержца: удержаться у власти, сохранить самодержавие вообще, и свое самодержавие в частности.

Таким образом, об истинной цене екатерининского школьного пятака надо справляться не в Зимнем дворце, а в относительно скромной помещичьей усадьбе где-нибудь под Тверью, под Пензой или даже в той деревушке, о которой сообщал новгородский губернатор Сиверс, где в пятнадцати крестьянских избах жили семнадцать дворян, занятых хлебопашеством, как самые бедные крестьяне, но — с дворянскими привилегиями. Обеднели.

Наверное, нет лучшего способа навести эти справки и понять происходившее, чем отправиться на заседания законодательной комиссии (Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения), созданной Екатериной.

Итак, тот же 1767 год. Императрица благополучно вернулась из путешествия по Волге; «Наказ» ее, плод двухлетней работы по утрам, с шести до восьми, отделан, острые места из него вычеркнуты, по всей стране произведены выборы депутатов, составлены для них местные наказы, и 31 июля после молебствий и церемониальных шествий депутаты собрались в Грановитой палате Московского Кремля: депутаты от дворян (161 человек), от городов (купцы, мещане — 207 человек), от казачьих войск (57 человек), от податных крестьян (112 человек), от иноверцев... Двести лет Россия не видала такого и еще долгое время после роспуска комиссии не увидит. Воспользуемся редким случаем. Пропустим торжественные заседания, пропустим преподношение Екатерине титула «Великой, премудрой матери России» и ее скромный отказ от этого титула, выждем время, пока депутаты пообвыкнут, посмелеют, понатореют в ежедневных занятиях; и вот уже май следующего, 1768 года, комиссия переехала в Петербург, обсуждается вопрос о беглых крестьянах, казалось бы весьма далекий от наших проблем; но посмотрим, во что выльется молчаливый этот спор. Молчаливый потому, что депутаты не произносили свои речи, а писали так называемые «голоса» — записки, и эти голоса зачитывались на заседаниях. Таким образом, крестьянин мог

спорить с графом и возражать ему, но не лично, не вслух — это казалось менее оскорбительным для графа...

Начал спор дворянский депутат Григорий Коробьин:

— Часто я размышляю о том, что бы понуждало крестьянина оставить свою землю... покинуть родственников, жену и детей...

Неужели только крестьяне виноваты в этих побегах? Нет, причина — в неограниченной власти помещиков. У крестьян должна быть своя земля, над которой он был бы господин: мог бы заложить, продать, подарить ее...

Буря была ответом «голосу» Коробьина!

Ограничить власть помещика? Как это можно?

Но слово было сказано. Еще некоторое время назад, до Указа о вольности дворянства, дело представлялось так: дворяне несут обязательную службу государству, крестьяне — помещику; все одинаково служат. Дворянин при Петре I служил без права выйти в отставку, даже без отпусков домой! После Петра сделаны были кое-какие послабления, а в феврале 1762 года вышел Указ о вольности дворянства. Дворяне были наконец совсем освобождены от службы, и равновесие нарушено. Следующим шагом, казалось бы, должны были освободить и крестьян, если по справедливости. Среди крестьян ходили слухи, что Указ о вольности крестьянства тоже был, но его скрыли.

И вот чуть ли не впервые помещикам пришлось доказывать свое моральное право владеть крестьянами, упирая не на силу (пулями и картечью с крестьянином говорили не здесь, а в селе, когда он взбунтуется) — не на силу, а на справедливость.

— Хлебопашцы бегут, потому что ленивы! Хотя бы и в собственность дали им землю, то надо ожидать от нашего народа, что по большей части она пуста останется!

— Вольность бесполезна нашему государству, ибо от нее хлебопашцы, не связанные властью помещика, разбредутся! Истребление хлебопашества!

— Да кто он такой, депутат Коробьин? Да он от собратии дворян того города и выбран не бывал и бывал ли он вообще в том городе? Он здесь по доверенности от другого депутата; но кто дал ему доверенность оскорблять помещиков и отнимать их привилегии?

Однако бранью не обойдешься. Время настало такое, что права помещиков уже не безоговорочны, их надо доказать! За эту задачу

берется блестящий публицист, ярославский помещик, князь Михаил Щербатов:

— Скажите, почтенные депутаты, скажите, вы слышали от отцов своих, коликие заслуги корпус дворянский всей России оказал? Кто вам православную веру сохранил? Кто от ига и мучительства варвар и чужеземцев вас избавил, если то не дворяне?

Красноречиво! Но теперь такой довод не проходит, и крестьянин Иван Чупров в спокойной записке иронически заметил на страстную речь князя: *«И всякого звания люди во всем государстве не без порученных дел остаются».*

И тогда кто-то из депутатов выдвигает новое доказательство — именно то, каким пользовалась сама императрица, в чем она была несомненным новатором.

Екатерина не без дела просидела 18 лет в дворцовом плену — она читала, думала, писала, у нее много сочинений, ее комедии ставили на сцене, издавали ее переводы из Плутарха. Она знала: величайшие умы эпохи — философы Вольтер, Монтескье и другие — считают идеалом государственного устройства «просвещенный абсолютизм».

Вот это как раз для нее: хотя у нее нет наследных прав на престол, все же именно она, а не кто-нибудь другой может быть «просвещенным» монархом на русском троне, и просвещенность — ее козырь, доказательство ее прав в глазах дворянской России (которая тоже недаром двадцать лет учила французский язык), в глазах всего мира и, главное, в своих собственных глазах, ибо надо и ей где-то брать силы для ежедневной борьбы, ежеминутно требуемого от нее вдохновения!

И в Комиссии об Уложении дворянские депутаты выдвигают точно такой же, самый новейший довод: просвещение. Дворяне должны управлять крестьянами, потому что на их стороне знание, образование, а крестьяне темны, неграмотны; свободу нельзя дать непросвещенным людям: она будет им во зло, как малым, неразумным детям.

Говорят об этом еще робко. Щербатов красноречив, потому что его мысли обкатаны, они вынашивались и оттачивались столетиями; новое слово еще косноязычно, — никто в зале не может предугадать, что через полтора столетия именно этот, новый довод, приобретя за долгие годы употребления блеск и лоск, станет главным доводом

всех имеющих власть: у них образование, потому они должны управлять страной.

...Если сказать, что с середины XVIII века среди дворян стало модным приглашать домашних учителей, — это значит ничего, по сути, не сказать. Мода — вещь почти необъяснимая и, уж во всяком случае, не объясняющая: то же «чудо». Не мода заставляла тратить князя Голицына по 320 рублей в год на содержание учителя Бартоломи де Серрати, ставить ему 15 ведер вина в год, давать зимой сани, а летом коляску парюю, с хомутами наборными, с кучером и с малым, одетым в ливрею; не мода принуждала московских дворян переманивать к себе лакеев-французов из пажеского корпуса и брать в дом учителями; не страсть к моде позволила одному чухонцу выдать себя за француза, наняться в дворянский дом учителем и обучить детей вместо французского — чухонскому, то есть финскому языку. Не мода, а нужда толкала отцов дворянских семейств на все эти относительно новые для них приключения.

Дворянину нужно было теперь образование для подкрепления своих наследственных прав.

Пожалуй, поэтому образование требовалось не всякое, а именно такое, которое бы внешне отличало образованных от необразованных, давало бы *культурное поведение*, изысканные манеры — все то, что сразу бросается в глаза. Образованность — как отличительный знак, как медаль на шее, как богатое платье; образован — значит, богатых родителей сын, значит, из благородных.

И фонвизинский Митрофанушка был не такой уж дурачок, как принято считать: лично ему география и грамматика действительно были не нужны. Но дворянству в целом было необходимо, чтобы митрофанушки получали образование, для того чтобы морально оправдывалась их власть над крестьянами. Митрофанушка Фонвизина не столько лентяй, сколько своего рода бунтарь, отказчик.

Петр I в 1724 году издал указ: «Для переводу книг зело нужны переводчики, а особливо для художественных.... Художества же следующие: математическое, механическое, хирургическое, архитектурное-цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис и прочие тому подобные».

Петру были нужны знающие люди для замещения множества вакансий, вдруг возникших в перестраиваемом государстве.

Спустя четверть века императрица Елизавета издает аналогичный

указ, но он кардинально отличается от петровского. Теперь «художества» Петра I никого не волнуют, совсем другое на уме: «Стараться при Академии переводить и печатать на русском языке книги гражданские различного содержания, в которых бы польза и забава соединены были с пристойным к светскому житию нравоучением».

Светскость! «Людскость»! Поведение в обществе! Каждое дворянское учебное заведение, возникающее в середине XVIII века, обязательно объявляет в своей программе, что оно будет учить детей светским манерам, иначе в такое заведение никто не пойдет. Державин писал, что в Казанской гимназии (одно из самых серьезных учебных заведений того времени) «преподавалось обучение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию. Более ж всего старались, чтоб научились читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным... что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении».

Манеры да иностранные языки, чтоб можно было за границей показаться, куда теперь стали свободно пускать дворянских детей, и в обществе в грязь лицом не ударить, и чтобы в поместье своем никто не спутал мужика-хлебопашца с мужем дворянским: дворянин говорит на другом языке, одевается по-другому, играет на фортепьяно, танцует, — он образован и потому, естественно, он хозяин крестьян и их земель; просвещенно, как добрый отец, управляет он своими подданными.

Этим же отчасти и объясняется, почему до самой середины XIX века гуманитарное образование преобладало над реальным: образование нужно было не для использования знаний в промышленности, в сельском хозяйстве или в науке, а для отличия в языке, образе мыслей и, главное, в поведении. Все это время — до середины XIX века — вопросы воспитания занимают педагогов куда больше, чем проблемы обучения. От школы ждали, что она будет не столько учить, сколько *воспитывать*.

И не только дворянская школа — крестьянская тоже: и крестьянская школа нужна для воспитания определенного поведения.

В Комиссии об Уложении пахотный солдат Иван Жеребцов предложил учинить «детские школьные учения». Ему отвечали со страстью, удивившей даже депутатов:

— Земледельцу то и школа, чтобы обучать детей с малолетства хлебопашеству и прочим домовым работам. А ежели они с малолетства будут употребляться в науку, то уж к земледелию и прочей работе склонить их будет никак нельзя. Такие училища пользы не принесут, а принесут ущерб казне, уменьшение в хлебопашестве и повышение цен на хлеб.

Между учением детей и ценой на хлеб устанавливалась прямая связь...

Крестьяне показали себя разумнее в этой комиссии, чем их «предводители». Пахотный солдат Егор Селиванов отвечал:

— Не от школы земледелие падает, от других причин! А просвещенный крестьянин больше хлеба на той же земле получит, нежели десять неученых!

Но это слишком смелое, непонятное по тем временам рассуждение, и сам Жеребцов вносит поправку:

— Я не требовал заведений в рассуждении живых и прочих иностранных языков, а об сциенциях (то есть науках) и думать не имел намерения! Но катехизису-то надо учить? Без катехизиса человек скотом может стать!

И вот тут-то выяснилось, что Жеребцов нечаянно сказал самое главное, и его сейчас же с жаром поддержал граф Александр Строганов:

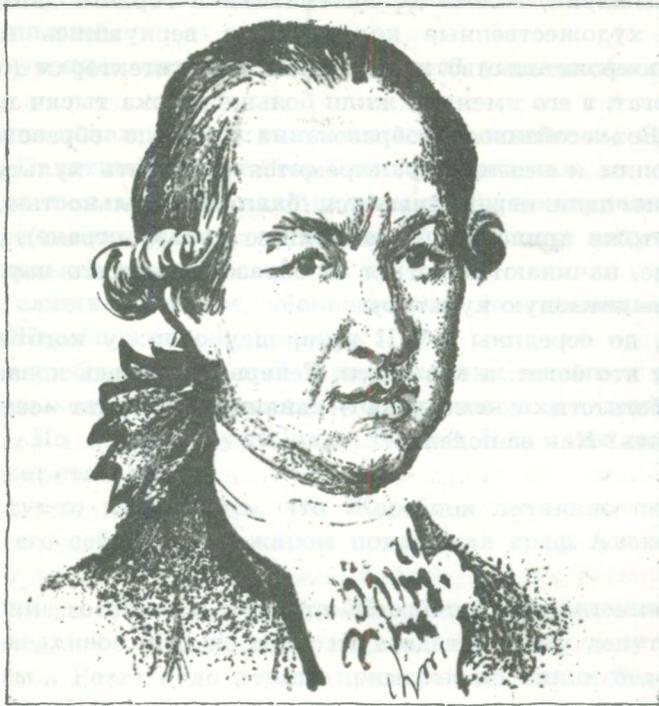
— Мнение господина депутата Жеребцова о заведении школ есть столь справедливое, что не могу не воздать оному депутату достойной похвалы... Разве надо искать примеры, до каких бедств доводит нас невежество? Без ужаса не могу представить себе помещиков, убитых своими собственными крестьянами. Я уверен, почтенное собрание, что если бы просвещеннее сей род людей был, то, конечно, мы не видели бы таких свирепств. Итак, вы сами видите, сколь училища для крестьян полезны.

Эта своеобразная логика ведет к тому же: школа нужна, ибо она что-то вроде церкви. Она должна научить терпению и уважению к помещику, чтоб не убивали его, даже если он доводит крестьян до отчаяния... Школа нужна была правительству, дворянству. Как при Петре I появилась внешняя потребность в образовании — для развития наук и ремесла, — так и теперь возникла такая же потребность — для сохранения своего положения. И тут медным пятакom не обойдешься. Спор о жизни и смерти.

Но коль скоро — по тем или иным причинам — число образованных росло, знание само по себе становилось все более серьезной ценностью в глазах людей. Тот же граф Строганов не ограничивается приобретением светских манер, он ездит по всей Европе, изучает языки и многие науки, вплоть до математики и горного дела, собирает прекрасные художественные коллекции, а вернувшись на родину, оказывает покровительство художникам и архитекторам (он был несказанно богат, в его имениях жили больше сорока тысяч крепостных крестьян). Вот особенность образования: хорошо образованный человек нетерпим к невежеству, стремится развивать культуру.

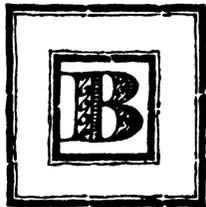
При этом одни ограничиваются благотворительностью, меценатством (что тоже приносило несомненную пользу стране), другие же идут дальше, начинают *бороться* за образование всего народа, за истинную, а не показную культуру.

Прежде, до середины XVIII века, шел спор: у кого земля, а у кого ее нет, кто богат, а кто беден. Теперь открылась новая «земля», появилось богатство нового рода — знание. Кому эта «земля» будет принадлежать? Как ее поделят?



Николай Иванович Новиков вышел
на службу отечеству с пером и кни-
гой и потеснил книзными магази-
нами модные лавки.

Глава пятая.



Комиссии об Уложении было много работы; ей потребовались десятки грамотных секретарей-протоколистов. Сыскать их было нелегко, но нашли — главным образом среди дворян, учившихся в Московском университете или гимназии при нем и вышедших в службу. Затребован был в комиссию и унтер-офицер Измайловского полка Николай Новиков (от слова «новик» — новичок в службе).

Так сложилось его образование: низшее — у дьячка, в подмосковном родовом поместье Авдотьино, среднее — в гимназии при Московском университете, которую он не закончил, высшее гражданское — в Комиссии об Уложении. За полтора года работы комиссии молодые протоколисты, проводившие дни за конторками, прослушали такие глубокие лекции о положении крестьян, о народной нищете, об ужасах русского судопроизводства, так откровенно и яростно спорили по вечерам, обсуждая очередные «голоса» депутатов, столько узнали, перебеливая записки-«голоса», сводя их в одно и читая императрице, что комиссия для них действительно стала университетом. Ни в каком учебном заведении России ничего подобного получить они не смогли бы.

О том, что это справедливо по крайней мере для тонкого, чувствительного Новикова, говорит тот факт, что когда комиссию распустили, он почти тут же подал в отставку. Служить в полку или на другой государственной службе он больше не мог. Вероятно, после всего услышанного служба была ему отвратительна.

Родись он, скажем, лет на 20—30 позже, пережитое потрясение привело бы его в состояние меланхолии, превратило бы в «лишнего человека». Но время лишних людей не настало — было время людей нужных, людей необходимых, время энергичных и деятельных, еще

не разочарованных в деятельности, еще веривших, что можно открыто служить отечеству, не служа государству.

Но чем он будет заниматься? Московская гимназия при университете, подобно Казанской, о которой рассказывал Державин, давала мало знаний, но прививала вкус к словесности. Там не прекращались литературные споры, там, при университете, издавали журналы: один журнал вел профессор, другой — студент. Комиссия дала Новикову связи в среде молодых литераторов и в высшем свете.

Он будет издавать сатирический журнал!

В лице Новикова «неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом», — писал историк В. О. Ключевский.

С пером и книгой, с открытым забралом на службу отечеству...

Впрочем, не совсем так. С открытым забралом он не долго прослужил бы отечеству — «и не таким сатирикам рога посломали». Начинается великая игра Новикова — игра в протаски.

Отчего он издает журнал? От лени, объявляет он публично. Только от лени! Он такой, дескать, лентяй, что иной раз по целой неделе просиживает дома — лень одеться. И служить ему лень. Приказная служба хоть и наживна, да хлопотлива, придворная — все спокойнее, да очень уж скользкая, надо изучать науку притворяться...

Пощечины Новикова сыплются градом, а сам он сохраняет невозмутимый вид. Все между прочим, вскользь, и все — метко, коротко, зло, так что Екатерина поеживается и пишет в своем журнале «Всякая всячина» про «черные парь и желчь» издателя «Трутня», то есть про Новикова. Дерзкий юнец, нимало не колеблясь, бросается в печатную полемику с Екатериной. Он забыл, что он не в комиссии, что был указ с красноречивым названием «О молчанье» и что крепостным за одну только попытку жаловаться на помещика положена Сибирь вместе с тем, кто эту жалобу по его просьбе составил. А Новиков подает коллективную жалобу всех крестьян на всех помещиков.

И дворянский подход к образованию как к отличительному знаку, знаку превосходства, высмеивается им чуть ли не в каждом номере. Новиков за просвещение, но за такое, какое отстаивал Ломоносов, — за просвещение на благо человека и отечества. Вспомним, как Скворода славил науки, одну за другой перебирая их. «Герой»

сатиры Новикова тоже перебирает науки, но для того, чтобы проклясть их.

Математика прибавит ли моих доходов? Нет. Черт ли в ней!

Физика ли изобретет новые таинства в природе, служащие моему украшению? Нет. Куда она годится?

История покажет ли мне человека, который был бы прекраснее меня? Нет. Какая же в ней нужда?

Его герой не Митрофанушка, он хочет учиться, но только не физике и не истории, а танцам и фехтованию.

Новикову кажется, что он ловко прикидывается простодушным, а на самом-то деле он и вправду простодушен — он надеется чего-то достичь сатирой... Закрылся один журнал — открывает второй, третий. В его жизни не было ни одного дела, которое он бросил бы прежде, чем исчерпал все возможности. И все же в конце концов он оставил сатирические журналы. «Трутень» спорил с Екатериной, «Живописец» пришлось посвятить ей, «Кошелек» посылать на предварительную цензуру... Конец.

Эта история ничему не научила Новикова. Все с такой же верой в свои силы и в возможности времени он берется за другое дело — за книгопечатание. Поразительно, с каким упорством Новиков, насколько не помышляя об этом, буквально преследует Екатерину, подхватывая каждое ее начинание и доводя его до таких пределов, что ей становится не по себе. Так было всю его жизнь. Она — журнал, он — три. Она — «Общество, старающееся о переводе иностранных книг», он — «Общество, старающееся о напечатании книг». Она начинает разговоры об училищах, он тут же на свои средства открывает два воспитательных дома в Петербурге. Она отправляется в путешествие по Крыму, демонстрирует иностранным послам процветание своей державы — он едет в деревню спасать крестьян от голода, потому что год был неурожайный... Она издает указ о вольных типографиях — он тут как тут с пятью типографиями и печатает в них такое, что указ поспешно отменяют (да еще Радищев, конечно, свое дело сделал). Новиков далек от мысли подрывать самодержавие, и Екатерина вынуждена терпеть его до поры до времени: ей пока не в чем обвинить его, она только повторяет: «Опасный человек!» А чем опасный? Тем, что искренне делает то, что она делает по необходимости. Самодержцы любят призывать к инициативе, но терпеть не могут, чтобы инициатива выходила из-под их контроля. Все неподконтрольное их

пугает, даже направленное им на пользу. Пожалуйста, говори что хочешь и делай что угодно, но только не выходи из-под власти. Все, что ускользает от власти, кажется опасным, подрывным, какими бы невинными ни были действия.

Самое удивительное, что бешеная энергия Новикова сочетается в нем с тихим, незлобивым характером. Это не лично Екатерина и не лично Новиков столкнулись в смертельной борьбе — две мощные силы, стоявшие за каждым из них. Новиков ни разу в жизни ни с кем не имел ни малейшей ссоры! Друзья не просто любили — обожали его, и впоследствии, когда его арестовали, два человека, слуга и друг, добровольно разделили его заключение в крепости, выпросили разрешение безвыходно, на правах арестантов, жить вместе с ним в холодной тюремной камере, почти без средств к существованию, лишь бы только рядом с ним жить, — нравственная сила этого человека была невероятно притягательна. Не много в истории сыщешь людей с таким сложным духовным миром и в то же время настолько деятельных. Эти два качества — склонность к размышлению, самоуглубление, и энергия действовать — редко совмещаются в одном характере.

Новиков же — это идеи, превращенные в поступки.

Друзья его были масоны; они уговорили и Новикова вступить в ложу, хотя он отказался участвовать в мистических масонских обрядных церемониях. Но в ложах была вся знать. Связи нужны были Новикову для его деятельности. И в мире-то среди масонов были значительные люди: Вольтер, Франклин, Дантон, Лессинг, Георг Вашингтон, Гёте.

Новиков вступил в ложу, стал проникать в масонские идеи нравственного самоусовершенствования. Но и этим идеям, специально изобретенным для того, чтобы отдалить человека от злободневной борьбы, — даже этим отвлеченным идеям Новиков умудряется найти практическое применение, превратить их в дело. И пока иные из друзей его потихоньку брюзжали да произносили, по выражению Пушкина, «двусмысленные тосты на франкмасонских ужинах», Новиков боролся за просвещение — служил отечеству с пером и книгой, как с конем и мечом... Он переезжает в Москву, берет на откуп захиревшую было типографию Московского университета, в один год оборудует ее так, что она становится вровень с лучшими европейскими типографиями. И застучали станки! Лавина книг хлынула

на Москву — покупай! Среди них много книг учебных и ученых, но много и любовных романов, нравоучительных, религиозных, книг по домоводству: Новиков приучал Россию читать, сажал за книжки, пусть на первых порах иногда самые пустые. Все-таки читать! К тому же ему нужна была прибыль: деньги он тут же пускал на расширение дела, на содержание сиротских домов, на выпуск менее доходных, но серьезных сочинений. Он один издал почти треть всех книг, выходящих во время его деятельности в России. «Книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот, — пишет Ключевский, — стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста!» А еще такие же книжные лавки открылись в восемнадцати других городах России, и по ярмаркам разносчики вместе с лентами и бусами понесли «ученый товар» Новикова. Газету «Московские ведомости» прежде никто не читал, тираж ее был 600 экземпляров. Новиков берет ее в свои руки, и вот уже москвичи раскупают 4000 экземпляров газет, мастера подписываются сообща: один грамотный, четверо неграмотных сложились, получают газету, и грамотный читает ее товарищам вслух, в кружочке. Такую сцену наблюдал Карамзин.

В бурной деятельности Новикова было что-то благородно-воинственное; он представляется бесстрашным всадником, успевающим всюду и всюду открывающим свет.

Сатирических журналов и книгоиздательской деятельности Новикова хватило бы на каждого человека, чтобы прославить его. Однако Новиков сделал еще и третье важное дело, имевшее большие последствия: он собрал вокруг себя таких же поборников просвещения, как и он сам, и создал так называемое Дружеское Ученое общество, эту ученую дружину.

Каждый член Общества был по-своему интересным человеком; объединяли же их два общих качества: вера в просвещение и бескорыстие.

Правитель канцелярии и переводчик С. И. Гамалея — тихий, углубленный в себя человек, прославившийся на всю Москву необыкновенной честностью и добротой. Когда ему пожаловали за службу 300 крепостных душ, он отказался от подарка, задумчиво сказав при этом: «Мне не до чужих душ, я и со своей собственной не умею справиться».

Сын горнозаводчика, очень богатый в молодости человек, Г. М. Походяшин, вступив в Ученое общество, фактически отдал все

свои средства на его дела — на содержание училищ, на помощь молодым людям, нуждавшимся в образовании, на спасение голодающих. Походяшин умер в бедности и, как рассказывают, умирая, попросил показать ему портрет Новикова — человека, которому он был обязан и бедностью и счастьем и которого он благодарил до последней минуты.

Но, быть может, самым ярким лицом в кружке Новикова был профессор Иван Георгиевич Шварц, немец из Трансильвании, приехавший в Россию не в поисках состояния, как иные из заграничных учителей, а потому, что почувствовал: в пробуждавшейся стране найдет он широкое поле просветительной деятельности. Он выучился русскому языку, был талантливым преподавателем и когда стал читать лекции в Московском университете, то все студенты полюбили его — он увлекал горячим своим характером, преданностью науке. С Новиковым Шварц подружился в тот же день, как они познакомились. Собрав пожертвования с членов Дружеского Ученого общества и внося своих пять тысяч рублей, Шварц основал сначала педагогическую семинарию при университете, а затем переводческую семинарию — нечто вроде современного института иностранных языков. В двух семинариях Общество содержало на свой счет 50 молодых людей, будущих учителей и переводчиков.

Заседания Дружеского Ученого общества были публичными, открытыми для всех. На этих заседаниях отчитывались в расходах средств, читали педагогические проекты, произносили назидательные речи. Пожертвования всё увеличивались, и Общество смогло открыть больницу для бедных, аптеку с бесплатными лекарствами и еще две новые типографии. При газете «Московские ведомости» печатались различные приложения, и в том числе бесплатное «Детское чтение для сердца и разума» — первый журнал для детей в стране, начало начал нашей детской литературы; и здесь же Новиков опубликовал свой замечательный педагогический труд «О воспитании и наставлении детей для распространения общепользных знаний и всеобщего благополучия», большая статья, которую и сегодня с пользой и с интересом прочитал бы каждый воспитатель. Новиков ввел в педагогическую литературу больше двухсот новых терминов. Это он назвал школьные предметы так, как они называются сейчас: «чтение», «письмо», «арифметика», «рисование». И самые главные для учителя слова «педагогика», «образование» стали употреблять

ся лишь после Новикова. «Образовать детей счастливыми людьми и полезными гражданами» — вот в чем Новиков видел цель воспитания, и подробно, с тонкими наблюдениями разбирал он, как этой цели добиться.

Не погашайте любопытства детей!

Научайте их чувствовать справедливо!

Приучайте их к терпению в страдании, бодрости и постоянству в несчастии, смелости и неустрашимости во всяких обстоятельствах.

Смелости и неустрашимости Новиков проявил достаточно. Вскоре судьба потребовала от него терпения в страдании и постоянства в несчастье...



Федор Иванович Яковлев получил от людей опыт, от властей - доверие и сделал школу похожей на школу.

Глава шестая.



ело складывалось так, что какие-то безвестные или, скажем, не очень-то известные люди во главе с Новиковым перехватывали, отнимали у Екатерины право называться просветителем — этим неофициальным титулом, тем более дорогим для Екатерины, что он поддерживал титул официальный, ее звание императрицы. Чем шире развертывалась их деятельность, тем бледнее выглядело просветительное творчество Екатерины. Очень может быть, что Екатерине казалось, будто Новиков послан ей не давать покоя за какие-то грехи.

Но и все дворянство вопило, умоляло доставить средства для воспитания детей.

И самочинные крестьянские школы становились опасностью именно из-за полной бесконтрольности их, что нетерпимо в самодержавном государстве.

Все требования, явные и неявные, требования жизни, экономики, требования всех слоев общества и требования отдельных видных людей — все слились в одно, мощнейшее: нужно было создать сеть школ, открыть дорогу к знанию.

В свое время Петр I отдал тульскому кузнецу Демидову во владение гору Магнитную на Урале; Демидовы сказочно разбогатели и славились своими чудачествами, мотовством и благотворительностью. Один из Демидовых, Прокофий Акинфиевич, живший при Екатерине II, был великим чудачком, можно сказать — шутком, но, в отличие от обычных шутков, миллионером. Когда стало модным носить очки, он снабдил ими всю свою прислугу, лошадей и даже собак. Мода так мода: все ходи в очках. Лакеев он одевал так: одна половина ливреи из золотого галуна, другая — из самой грубой сермяги; на одной ноге — шелковый чулок и лакированный башмак, на

другой — онуча и лапоть. Это и был образ России тех времен — России богатой, изысканной, модной, говорившей то на немецком, то на французском, читавшей новейшие либеральные книги, и России нищей, закрепощенной и темной. И все это было одно, была одна страна — Россия, в золоте и сермяге, и этой стране, и золоту ее и сермяге, требовалось образование — без него жить нельзя было.

Но каждый, кто захочет создать школу (или школы) на новом месте, столкнется, по крайней мере, с тремя проблемами:

1. Где взять учителей; кто их, учителей, научит?
2. Где взять учебники; кто их напишет?
3. И, наконец, где взять самих учеников?

К концу XVIII века встали все три проблемы разом: не было ни учителей, ни учебников, ни учеников. И не было даже идеи, откуда это все вдруг должно появиться. Однако попытка создать государственную сеть школ была сделана. Чтобы узнать о ней подробнее, нужно познакомиться с одним современником Новикова (хотя нет сведений, что они встречались) — с человеком, сравнительно малоизвестным в наше время, но сыгравшим важную роль в истории русского просвещения.

Федор Иванович Янкович родился в 1741 году, почти ровесник Новикова. Он был серб, род его издревле жил в Венгрии. Учился Федор Иванович в Венском университете, был секретарем епископа, а в тридцать два года стал первым директором народных училищ в Австрии. В это время в Австрии проводили широкую учебную реформу. Ее разработал один монах-августинец. Предлагалось много новшеств, но главным, пожалуй, было вот что: система. Впервые устанавливалась система, отчасти похожая на ту систему, которая сохранилась и в наши дни, — начальная школа, неполная средняя, средняя школа, институт. Каждое из этих звеньев дает в какой-то степени законченное образование, и каждое звено сцеплено со следующим. Человек, в зависимости от обстоятельств, может перебрать всю цепочку — получить высшее образование, а может ограничиться одним, двумя, тремя звеньями. До того в Австрии, как и у нас, школы были разрознены, не связаны между собой.

Янкович принял деятельное участие в реформе и за это был награжден дворянским званием: с 1774 года он стал именоваться Янкович де Мириево.

В нашу страну Янкович попал любопытным образом: он был

одожден своим императором Иосифом II русской императрице Екатерине II во время их свидания в Могилеве.

Екатерина искала человека, который мог бы провести аналогичную реформу в России; Иосиф II по-соседски предложил ей Янковича. Янкович был человек подходящий: он знал славянский язык, был православной веры, сам участвовал в австрийской школьной реформе.

В 1782 году Янкович приехал в Россию и взялся за дело с поразительной энергией. От сорока до пятидесяти — прекрасный возраст для мужчины, соединяющий в себе и молодость и зрелость. Янкович был в расцвете сил, деятельность его заранее одобрялась, препятствий не было — идеальные условия!

Для школы, как уже говорилось, прежде всего нужны были учителя и учебники. Первым делом Янкович создал в Петербурге учительскую семинарию с народным училищем при ней и стал ее директором. В семинарию направили лучших слушателей из духовных семинарий (не без волокиты дело обошлось, но все же направили).

Преподавателями ее стали, в основном, молодые профессора из Петербургской Академии наук.

Среди педагогов учительской семинарии был, в частности, племянник Ломоносова — Мишенька, теперь Михаил Евсеевич Головин, почетный академик.

Занятия в новой семинарии начались в январе 1784 года и продолжались без каникул, без отдыха, до начала июля 1786 года — два с половиной года. Торопились. Первый выпуск семинарии — 100 учителей. Первый отряд для главных народных училищ, которые решено было открыть в 26 губернских городах к 22 сентября — к празднику коронации Екатерины II. Не просто образованные люди выходили из учительской семинарии, а именно учителя: они впервые прошли специальную педагогическую подготовку, хотя курса педагогики им, по-видимому, не читали. Изучали математику, физику, естественную историю, черчение, рисование, русский, немецкий и латинский языки.

Закону божьему обучать не понадобилось, ибо все студенты — из духовных семинарий.

Едва закончился первый курс (то есть первый набор), как тут же набрали и второй, затем третий, четвертый, пятый... Семинария рабо-

тала на полную мощь. Уже к третьему набору стало возможным освободить академических профессоров: появились собственные молодые преподаватели, выучившиеся в той же семинарии.

Заведуя первой учительской семинарией, Федор Иванович Янкович одновременно начал работу над учебниками. Часть из них он перевел с немецкого, часть составил сам. Пять учебников — по арифметике, геометрии, физике, механике и гражданской архитектуре — написал Михаил Евсеевич Головин. К подготовке учебника русского языка был привлечен ученик Ломоносова профессор А. А. Барсов. За четыре года — поверить трудно! — выпустили двадцать семь учебных книг, почти полный набор необходимых учебников.

Для будущих учеников издали «Правила для учащихся»: «Как ученикам сходиться в училище, в оном поступать и из оного выходить», и книгу «О должностях человека и гражданина» — что-то вроде учебника этики. Книга выдержала много изданий.

Учебники Янковича и его помощников прожили недолгую жизнь. Они были тяжеловаты, трудны для ребят. Федор Иванович явно увлекся; сам размах дела уносил его в заоблачные выси, и ему, видно, казалось: стоит только издать учебники получше, стоит внедрить их в училище, и сразу появятся серьезно образованные люди. Простим ему это увлечение. У этих учебников имелось одно неоспоримое преимущество: они были. А других, лучших, пока что и вовсе не было: лучшие-то создавались позже, с учетом недостатков книг Янковича.

Но это еще не все. Быть может, вот главное, что он сделал: он придал школе тот «нормальный» вид, который она имеет, по существу, и до сих пор.

Прежде всего, запретил телесные наказания, причем в специальном «Руководстве для учителей» перечислил все виды наказаний, какие только смог придумать, чтоб не оставить и лазейки. Итак, отменены были:

1. Ремни, палки, плети, линейки и розги;
2. Пощечины, толчки и кулаки;
3. Драние за волосы, ставление на колени и драние за уши;
4. Все посрамления и честь трогаящие устыжения, как-то: уши ослиные и названия скотины, осла и тому подобные.

Более того, запрещено было вообще наказывать:

1. За слабоумие, худую память и природную неспособность;

2. За недостатки душевные, как-то: робость, ветреность, неприметливость, если только она происходит не от нерадения или шалости.

В старой, «самодельной» школе учились «долго, со многим трудом и биением». Известный педагог П. Ф. Каптерев заметил: «Эти три свойства: продолжительность, труд и битье — характерные черты всего русского древнего обучения».

«Памятно мне мое учение... по той, может быть, причине, что часто меня секли лозою», — писал в конце XVIII века артиллерии майор М. В. Данилов.

«...Чему и как учил меня (дьяк), не помню, — вторит майору его современник, — но что он часто и больно секал меня, особливо по субботам, сие помню.

...После субботней вечерни все ученики собирались в школу и, не садясь по местам, а стоя, ожидали дьяка.

При вступлении в школу он был приветствован ото всех и в один голос: «Мир ти, благий учителю наш!» На что он отвечал: «Треба секты вас», и тотчас начинает экзекуцию. «Учись, не пустуй, помни субботу», — были его увещания при сечении.

Сохранились образчики литературного творчества «школьников» и семинаристов тех времен; иные из них посвящены розге. В книге «Литературные опыты воспитанников Владимирской духовной семинарии...» можно обнаружить, например, такую песню, сочиненную семинаристами:

Житье в школе не по нас:
В один день секут сто раз!
О горе! О беда!
Секут нас завсегда!
И лозами по бедрам,
И пальцами по щекам.
О горе! О беда!
Секут нас завсегда!
Придешь в школу не готов,
Не припомнишь разных слов, —
Не с другого слова в рожу,
Со спины сдерут всю кожу.
О горе! О беда!
Секут нас завсегда!

Наука и учение казались людям тех времен настолько чуждыми

природе ребенка, что никому и в голову не приходило, будто мальчику может нравиться учиться. Ребенок учиться не хочет — вот это естественно. Значит, чтобы научить его, надо его заставить. А так как заставляли всех подряд и принуждение отбивало охоту учиться даже у тех, у кого она была, то и примеров таких не знали, чтоб малыши выучились грамоте без битья и угроз. (Ломоносов и другие вроде него казались странными, и можно даже понять его мачеху — понять, отчего она бранила его за сидение над книгами. Это могло и пугать ее как нечто неестественное. А сам Ломоносов всю жизнь с презрением относился к тем, кто «из-под лозы», как он говорил, выучился.)

Перед нами обычное человеческое заблуждение: следствие принимается за причину, причина — за следствие. Битье считалось следствием неохоты детей учиться. На самом деле именно битье это (вообще принуждение) было причиной неохоты.

Понадобилось очень много времени, чтобы распутать клубок, понять: каждый ребенок хочет учиться; и стоит педагогу опереться на это желание, как дело пойдет само собой — без кнута и даже порою без пряника.

Исполнялось ли во времена Янковича его требование?

Конечно, нет. Оно осталось на бумаге, и еще в середине XIX века вопрос о розгах в школе бурно обсуждался общественностью. Но требование не сечь, не оскорблять, не унижать детей было высказано — это уже много; а главное, в самой-то учительской семинарии, которой руководил Янкович, не в пример семинариям духовным, действительно не секли!

Федор Иванович требовал от учителей благочестия, любви к детям, терпения, бодрости. Особенно бодрости!

«Учитель, — писал он, — не должен быть сонлив, угрюм или, когда хвалить надобно детей, равнодушен...»

Так хотелось этому человеку видеть школу осмысленную, упорядоченную, деловитую, энергичную!

Янкович ввел классно-урочную систему. Лет за тридцать до Янковича такую же систему предлагал и Ломоносов, но она не утвердилась. До Янковича учитель занимался не с классом, а с каждым учеником в отдельности, оттого в комнате стояло гудение: всяк зубрил свое. Теперь учитель стал заниматься с классом.

Даже спустя примерно полвека после открытия учительской се-

минарии ее историк описывал этот метод с некоторым удивлением: «Один учитель мог занимать многочисленный класс. По известным словам и знакам чтение начиналось, продолжалось, останавливалось, читали все, один и проч.».

«Нормальный» метод означал настоящую революцию в школе. Он сделал возможным массовое обучение. С появлением, распространением его всеобщее образование стало *теоретически* возможным. Если «мастер грамоты» может учить человек 8—10, то учитель «нормальной» школы занимается с классом в 30, 40, 50 человек.

Производительность труда учителя резко возросла, учение стало гораздо дешевле и потому доступнее.

Впервые в классной комнате вместо маленьких грифельных досок появилась одна, общая для всех классная доска, на которой учитель мелом писал для всего класса.

Впервые стали устраивать перед уроками переключки и говорить на переключках: «Здесь!»

Впервые установили правило: кто знает и хочет отвечать, подними левую руку. (И это надо было изобрести, ничего на свете не приходит само собою!)

Все было впервые, как в первый день творения.

В 1786 году комиссия, созданная с приездом Янковича (то есть в 1782 году) закончила свою работу, и в тот же год, всего через 12 лет после аналогичной реформы в Австрии, были открыты первые 26 главных народных училищ с пятилетним сроком обучения. Стали открываться двухлетние училища в уездных городах.

На какие средства? Школы создавали в основном на пожертвования. Сохранились длинные «ведомости о пожертвованиях на нужды народных училищ по уставу 1786 года».

Прокофий Акинфиевич Демидов (тот самый чудак, который одевал слуг в золото и сермягу) пожертвовал 5 тысяч рублей.

Содержатель питейных домов господин надворный советник Маркел Мещанинов и именитые граждане Гусятников с компаниею — тысячу рублей.

Московский купец Дм. Назаров — 100 рублей.

В Новгороде господин титулярный советник Федор Данилов подарил тамошнему училищу ее императорского величества портрет. И так далее, и так далее...

Реформа 1786 года была подорвана в самом своем основании.

Пожертвования поступали нерегулярно. Учителя не получали жалованья. Попадали в полную зависимость от благодетелей. Голодали. «Часто не имели сапогов и чулков, — пишет один свидетель, — вместо которых обертывали ноги в бумагу». Комиссия училищ была завалена жалобами. В 1789 году учитель Кронштадтского училища Рожковский, не найдя другого способа выйти из учителей, отрубил себе палец...

Но все-таки учителя есть, есть и учебники, пожертвованы, предположим, и средства. А кто «пожертвует» учеников?

Новая школа с ее новыми правилами вызывала опасения. Как это учить детей без розги? Пустая трата времени... Лучше уж по старинке. Новшество принималось так же неохотно, как и другие нововведения екатерининских времен, как разведение картофеля и оспопрививание. Чтобы показать пример, Екатерина первой сделала себе прививку против оспы. Но престолонаследника в уездную школу не пошлешь...

Державин в Тамбове сгонял детей в школу с помощью полицейских.

Через два года после реформы чиновник Козодавлев обнаружил, что никто не хочет посылать детей в старшие классы: «Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе нужно одно токмо чистописание». Зачем же учиться дальше?

И Екатерина II постепенно охладела к просветительской деятельности, найдя себе в качестве оправдания спасительную мысль о том, что «перед богом тысяча лет не более как одно мгновение». Так зачем же торопиться?

Когда мы говорим «просвещенный Запад», не надо думать, будто Россия времен Екатерины была единственной в Европе темной страной. В XVIII веке соседи наши тоже не могли похвастаться: народное образование было у них поставлено ненамного лучше, чем у нас.

Современная английская исследовательница пишет, что образование народа для Англии начала XIX века — «новая идея».

Другой историк описывает немецкую школу конца XVIII века в таких выражениях: «Учителя жили в жалких лачугах... Нередко обучением детей занимались отставные солдаты, уволенные за различные проступки, сельские писцы, мелкие чиновники... портные, сапожники, ткачи, переплетчики». «Впрочем, то же мы видим и в других странах, — замечает автор, — например, в США».

Но уже в конце XVIII века в Австрии школы создавались в селе. В России — только в уездных городах. Огромная масса крестьянских детей осталась вне школы или по-прежнему в случайных школах «мастеров грамоты».

В Австрии (как и в Пруссии к тому времени) было введено обязательное обучение, такое же обязательное для всех детей, как у нас во времена Петра — для детей дворянских. Под угрозой штрафа и наказания.

В нашей стране обучение стало обязательным только век с лишним спустя, после Октябрьской революции.

Где-то на этом рубеже, на границе между XVIII и XIX веком, Россия начала отставать в народном образовании от своих западных соседей.

Если представить это соревнование в виде эстафеты, то можно сказать: Екатерина II проиграла свою дистанцию.

И словно для того, чтобы прикрыть свое поражение, чтобы не допустить торжества противника, Екатерина начала гонение на Новикова.

У него отобрали типографию Московского университета; пришлось ему ликвидировать и остальные дела. Приняв на себя долг в 300 тысяч рублей, он уехал в подмосковное село Авдотьино, где занялся воспитанием своих детей и племянников.

Было ему в то время всего 46 лет.

А в 1792-м, через два года после ареста Радищева, в Авдотьино прибыла сначала команда солдат, а потом и гусарский майор с обер-офицером, унтер-офицером, капралом и еще дюжиной солдат — целая армия против большого и слабого человека, постоянно падавшего в обмороки, такого недужного, что первый посланный за ним даже не решился тронуть его с места: как бы не умер в дороге. Майской ночью Новикова тайно повезли из Авдотьино в Петербург, повезли не по тракту, а через Ярославль и Тихвин, как опаснейшего бунтовщика, и сдали в Шлиссельбургскую крепость без обозначения фамилии; даже комендант крепости не знал, кто же сидит у него.

И так — без суда! — Екатерина повелела «запереть» Новикова на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. И добавила, что он, Новиков, заслуживает «тягчайшей и нещадной казни». Но и этого было мало. Объявлено было, что Новиковым двигало корыстолюбие и плутовство, что он был невежа, что на тайных масонских сборищах

«ужасные совершались клятвы с целованием креста и Евангелия». Официально Екатерина заточила Новикова за масонство, но все его друзья-масоны отделались очень легко, только Новиков пострадал за всех и за все то доброе, что он сделал для своего отечества.

Его продержали в каземате четыре года, до смерти Екатерины II. Он вернулся в Авдотьино «дрякл, стар, согбен, в разодранном тулупе», как писал Гамалея. Когда Новикова арестовали, Гамалея переселился в Авдотьино, чтобы воспитывать детей своего друга.

Новый император, сын Екатерины II — Павел, вызвал Новикова к себе. Павел ненавидел Екатерину и всем ее врагам оказывал милость — просто из нелюбви к матери. Новикова же он знал и раньше — получал от него книги.

Павел предложил ему вознаграждение за причиненный вред.

Новиков от милостей отказался, попросил лишь об одном: помиловать и освободить других заключенных, сидевших вместе с ним в крепости за разные преступления (их было восемь человек). Арестантов освободили, и Новиков уехал в Авдотьино, где и жил еще двадцать лет. Умер он в 1818 году.

А как же Федор Иванович Янкович? Вспомним и о нем.

Он совершил главный подвиг своей жизни и сходит со сцены — он больше не нужен, как не нужен в новой войне старый генерал, победитель в былых сражениях. Янковича избирают в академию, он участвует в составлении словарей, но деятельность его закончена, да и не только закончена — полузабыта.

Что же дало русскому просвещению это бурное время — вторая половина XVIII века? Что вышло в результате столкновения двух мощных сил, представленных в истории императрицей Екатериной II и неслужащим дворянином Новиковым?

В 1785 году (то есть накануне появления школьного устава) за государством официально числилось 12 школ, 38 учителей и полторы тысячи учеников.

В 1800 году школ было 315, учителей — около 800, учеников — 20 тысяч.

Конечно, очень мало. Но это была первая зацепка, первые зерна, из которых в дальнейшем выросла разветвленная школьная система. С этого времени школьное дело развертывалось без тех огромных перерывов, какие бывали прежде; его больше не приходилось начинать с нуля. Система установилась и начала разрастаться.

Устав 1786 года положил начало развитию государственной школы.

И в это же самое время деятельностью Новикова началось другое общественное движение в истории русского просвещения, которое с этих пор стало бороться с государственной школой, подталкивать ее развитие, оказывать на нее сильное давление в самых разных формах — и педагогической публицистикой, и литературой, и увеличением числа книг и читателей. Карамзин своеобразно подвел итог деятельности Новикова: «...Едва ли в какой-нибудь земле число любопытных так скоро возрастало, как в России».

XVIII век начинался с Петра I; мы видели, как соединялись в нем внешние и внутренние побуждения учиться, нужда и любознательность. А кончился XVIII век тем, что эти же побудительные причины, во много раз усиленные, стали толкать к образованию очень большое число людей. И это привело к расцвету русской культуры в XIX веке.

Сия запись июля 30 дня 1817 лета. Я сын Алексий Раменский по соизволению начальствующих меня переведен был в школу с. Мологино, что Старицкого уезда, в тую же должность отца моего учителя Алексия Раменского, оставившего должность в день Святой Троицы.

К сему руку приложил Алексий Раменский.
1817 г.

Вторая запись в семейной хронике учителей Раменских.



з петербургских палат — вновь на берега тихой Итомли, чтобы сверить время по Раменским.

Алексей Раменский-сын сменил отца в Мологине после его 54-летнего труда в 1817 году. Несложные расчеты и прямое свидетельство в записи («переведен был...») показывают, что еще до того времени он по крайней мере лет двадцать, если не тридцать, был учителем в какой-то из соседних школ и, следовательно, воспитан был в традициях просветителей конца XVIII века, продолжая их в веке XIX, чему есть и доказательство.

Отцы учеников нового Раменского только что вернулись из партизанских партий, так досаждавших Наполеону, и, не жалея сил, приволокли в Мологино французскую пушку. Трофей установили посреди села, рядом с храмом: да помнят! Мологинцы были народ тертый, незадавленный. Им повезло. В других селах «черт свалку господ» устроил, а Мологино принадлежало помещику Юрьеву, выигравшему село вместе со всеми его жителями в карты и никогда в селе не жившему. Юрьев был богат, холост и не жаден; он даже порывался, рассказывают, и вовсе отпустить мологинцев на волю, да этого нельзя было сделать по законам, и он ограничился небольшим оброком, который работавшие на льне мологинцы выплачивали шутя.

Раменский-сын — иной учитель, нежели был его отец, именно потому, что его отец был учителем. Он рос в доме, где была библиотека и где хранился драгоценный экземпляр радищевско-

го «Путешествия из Петербурга в Москву». Вряд ли старик Раменский мог приобрести эту книгу: только за то, чтобы взять ее прочитать, на время, платили тогда по 25 рублей, потому что Радищев сжег почти весь тираж прославившего и погубившего его сочинения. Остались считанные экземпляры. Значит, подарил? Может быть и такое, ибо Раменский-старший еще в юности знал Радищева и еще в шестидесятые годы получил от него в подарок книгу-календарь с надписью.

Раменский, начинающий XIX век, — учитель с серьезным гуманитарным образованием, склонный к размышлению, к поэтическим усадям, человек тихий, добрый, с негромким голосом и внимательным взглядом. Он еще больше читает, чем его отец, он бродит по окрестным монастырям, роется в древних грамотах, приносит домой пуды выписок. И до того серьезна эта работа, что знаменитый писатель-историк Карамзин пользуется находками сельского учителя, а в благодарность присылает ему свои сочинения.

Но кто-то из Раменских согрешил: променял это собрание сочинений соседнему барину на дворовую крепостную девушку, в которую был влюблен его сын. История в духе пушкинских «Повестей Белкина»: влюбленный юноша; тайные встречи, отец, который идет на трудные переговоры и, покряхтывая и смущаясь, предлагает барину все его богатство — сочинения Карамзина, и счастье девушки, и радость в доме Раменских, не очень омраченная тем, что в книжном шкафу среди старинных томов непривычное зиянье.

Раменские вживались, растили чужих детей и детей своих, обзаводились родней, их становилось все больше и больше, и все — братья, дядья, племянники, дети и внуки, — все шли в учителя. Целая учительская семинария, не учтенная в официальных списках.

Если общее образование Раменские получали в разного рода школах и духовных училищах, то образование педагогическое они день за днем воспринимали в своем собственном доме с самого рождения. Учительские навыки, учительскую честность, учительскую любовь к детям, учительскую страсть.

Кажется, все это было бог весть когда, и люди представляются — не люди, а туманные пятна, слабые силуэты, вышедшие

из исторических книг. А ведь Алексей Раменский-сын — ровесник Андрея Болконского или, скажем, Пьера Безухова, и так же, наверно, он страдал во время нашествия Наполеона, так же остро размышлял о жизни, жаждал совершенства, искал его, вглядываясь в своих учеников...

Рядовой по должности, Алексей Раменский был незаурядным человеком, известным далеко за околицей своего села. Не случайно же это произошло: когда Пушкин приезжал в гости к тверским друзьям, ему рассказали о замечательном учителе, и они встретились, и учитель был так интересен поэту, что они вели долгие беседы. Расставаясь, Пушкин подарил Раменскому книгу Вальтера Скотта «Айвенго» (тогда это название писали так: «Ивангое»). На книжке Пушкин написал: «Ал. Ал. Раменскому» — и сделал грустный рисунок: набросал широкую вилицу с пятью телами... Поэт и Учитель, бродя по лесам и лугам, говорили о декабристах.

*Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.*

Эти строчки были тоже написаны рукой Пушкина на книге «Ивангое», но поэт густо зачеркнул их. Может быть, побоялся за своего нового знакомого, зная, что он будет долго хранить книгу, а может, и за себя побоялся... Только в наши дни пушкинисты прочитали этот отрывок из десятой, сожженной поэтом главы «Евгения Онегина».

Наверно, Раменский хорошо знал стихи Пушкина: как учили бы детей учителя, если бы не было поэтов? И каждый хороший учитель всегда хоть немножко поэт, даже если он не пишет стихов. Алексей Алексеевич был им. По преданию, это именно он водил Пушкина к омуту и рассказывал ему поэтическую историю о старом мельнике и его дочери-русалке, и Александр Сергеевич написал на той же книжке «Ивангое», подаренной учителю:

*Как счастлива я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора*

*И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.*

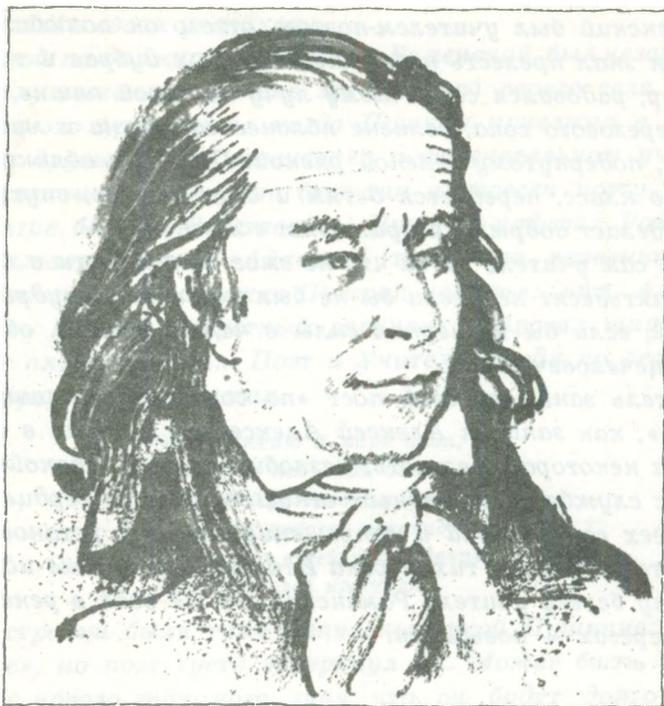
Считают, что это начало так и ненаписанной второй части «Русалки».

Раменский был учителем-поэтом, оттого он полюбился Пушкину. Он знал прелесть небольших зеленых дубрав и тихих лесных озер, радовался солнечному лучу на серой пашне, прозрачности березового сока, белизне яблоневого цветка и маленькому болотцу, подернутому зеленой ряской. Поэзия в облике учителя входит в класс, передается детям и смягчает их, внутренне собирает, делает добрыми и примиряет с жизнью.

Да и сам учитель ни за что не смог бы провести в классе сорок — пятьдесят лет, если бы не был поэтически мудрым и терпеливым, если бы не черпал силы в чем-то вечном, общенародном, общечеловеческом...

Учитель занимает свой пост «по соизволению начальствующих его», как записал Алексей Алексеевич (и даже в этой фразе видна некоторая мягкость, незлобивость его, спокойная привычка к службе и служебным отношениям). Но сердце учителя выше всех соизволений и запрещений, норм и установлений.

Все так же течет тихая река Итомля, все так же идет по высокому берегу учитель Раменский, та же вода в реке, но другое на берегах — новый век.



Моганна Генрижа Тесталоуци
дети любил до смѣх, друзья свѣ-
тали счасливѣйшим, а королѣ
и философы пожительно слушаем.

Глава седьмая



беждение в том, что образование нужно человеку, появилось, укрепилось и если не стало общепринятым, то, во всяком случае, довольно распространенным.

Теперь предстояло сделать следующий шаг: должно было появиться и укрепиться убеждение в том, что образование нужно всем людям без исключения, где бы и в каких бы семьях они ни родились.

Когда-то, тысячелетия назад, в Древнем Риме не каждый родившийся ребенок имел *право на жизнь*: отец мог отвергнуть новорожденного, считая его или хилым, или не своим.

Теперь речь шла о *праве на образование*, таком же неотъемлемом, как и право на жизнь. Человечество поднималось на вторую ступень гуманного отношения к человеку. Впрочем, разница между этими ступенями не так велика, как кажется на первый взгляд: просто развитие производства делало грамотность человека условием его существования. Право на жизнь и право на образование постепенно становилось одним и тем же.

Самые дальновидные педагоги давно писали о всеобщем образовании. Но легко сказать: «Учить всех!» А как, на какие средства учить всех? Каким методом? Каким наукам учить? Как воспитывать, чтобы от учения была польза, а не вред?

Педагоги всего мира размышляли над этими вопросами. И прежде чем вслед за Раменскими перейти в следующий, XIX век (это звучит почти как перейти в следующий класс), посмотрим хотя бы вкратце, на каком фоне развивались драматические события просвещения в России, каким педагогическим именам поклонялись в мире.

Если спросить любых десять человек, кто такие Колумб, Коперник и Коменский, то, наверное, десять из десяти скажут о первых

двух и лишь несколько человек — о третьем. Между тем Ян Амос Коменский сделал для человечества не меньше, чем прославленные мореход и астроном. Он открыл педагогический материк, который обживают до сих пор, и перевернул все педагогические представления, считавшиеся до него такими же очевидными, как представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли.

Ян Амос Коменский прожил почти весь XVII век: родился он в 1592 году, а умер в 1670. Сын чешского мельника сумел закончить школу, академию и университет, сделаться священником и учителем. Сорока лет от роду он издал свою «Великую дидактику» — книгу, название которой могло бы показаться и нескромным, если бы оно в такой степени не отвечало истине: это действительно великая книга.

Все, что мы видим в современной школе и что появилось у нас со времен Федора Янковича: урок, класс, каникулы, коллективная, а не индивидуальная работа в классе, — все это ввел Коменский. Он призывал всматриваться в природу и устраивать школу так, как если бы ее устроил не человек, а сама природа. Он учил, что науку надо не вдавливать, а объяснять, идя от простого к сложному, от фактов к выводам, от близкого — к далекому, повторяя один и тот же материал и постепенно усложняя его, то есть так, как это и делают в современной школе. А до Коменского наука попадала к ученикам в виде набора фактов и сведений, которые приходилось зубрить, — другого способа усвоить их не было. Коменский же выдвинул и принцип наглядности обучения: он говорил, что если ученик не только умом постигает предмет, но всеми своими чувствами — зрением, осязанием, то усвоение идет быстрее.

До Коменского все учителя были равны, а ученики — умные или тупые. На учителя, по существу, не лежало никакой ответственности за то, как он преподает. Коменский впервые учил учителей преподавать. Он был уверен, что «из всякого ребенка можно сделать человека», если школа будет не «пугалом для мальчиков и застенком для умов», а «мастерской человечности». Его так и называли — «учитель учителей», как позже стали называть немецкого педагога Дистервега — «учитель немецких учителей» и русского педагога Ушинского — «учитель русских учителей».

В каждой стране был свой Коменский, но — после него. Коменский был учитель всех учителей. Английский парламент пригласил

его в Англию, затем он поехал в Швецию, в Венгрию, жил в Гамбурге и Амстердаме — вся Европа торопилась научиться у Коменского. Когда при только что открытом Московском университете появилась типография, то одной из первых книг, которые там стали печатать, была книга Коменского «Мир в картинках», переведенная на все европейские языки. И лишь совсем недавно, лет двадцать назад, были найдены новые работы Коменского: трудолюбивейший этот человек оставил после себя 260 сочинений!

Коменский — педагогический гений XVII века.

В XVIII же веке ни один человек не произвел такого впечатления на педагогов всего мира, как Руссо.

Французский писатель и общественный деятель Жан-Жак Руссо (он жил с 1712 по 1778 год) назвал свой главный педагогический труд «Эмиль, или О воспитании». Эту книгу палач публично сжег в 1762 году: ее признали вредной. После такой рекламы, а главное, конечно, из-за достоинства самой книги она с невероятной быстротой распространилась по всему свету. Отголоски идей Руссо и до наших дней можно увидеть почти в каждом значительном педагогическом труде.

В чем же заключаются «руссоистские» идеи — идеи Жан-Жака Руссо?

Он первым сказал самую важную и самую трудную для претворения на практике педагогическую истину: воспитание — это и есть жизнь, а не подготовка к жизни. Ребенок, подросток, юноша не учится *будущей* жизни — он просто живет! У него свои заботы, свои радости, свои задачи роста, и воспитание надо *приноравливать* к этим его задачам и потребностям. Воспитывая и обучая, надо исходить не из наших, взрослых, представлений, как бы значительны и правильны они ни были, а из потребностей и возможностей ученика, из природы ребенка. «Природа желает, — писал он, — чтобы дети были детьми, прежде чем они станут взрослыми». И потому — «любите детство, поощряйте его игры и забавы».

Его Эмиль воспитывается не в школе и не наукам: в лесу, в поле, на ферме. Мальчика учат не книги, а природа, люди и вещи, он воспринимает самые простые, естественные правила поведения, и воспринимает их легче, ибо они согласуются с его естественными потребностями и представлениями. Он учится в труде, ибо труд — неизбежная обязанность общественного человека. «Богатый или бед-

ный, могущественный или слабый, всякий праздный человек есть плут», — категорично объявил Руссо.

Руссо был пылкий человек. Ему не нравились все современные ему учебники и вообще науки: они уводили, по его мнению, человека от природы, от естественных чувств, естественных радостей, естественных душевных движений. Назад к природе! А наука ни к чему. Вот это-то и подало повод для насмешек, не прекращающихся уже триста лет. Как только человек заговорит о простом и естественном в воспитании, ему отвечают: «Ну, это уж совсем Руссо». Хотя еще Николай Иванович Новиков высмеивал людей, которые из всего Руссо усвоили лишь одно: что, дескать, не надо учиться никаким наукам...

Коменский и Руссо заложили общие принципы обучения (Коменский) и воспитания (Руссо).

Методы Коменского позволяли обучать грамоте каждого ребенка. Революционные идеи Руссо о равенстве всех людей тоже подводили к мысли о том, что все дети без исключения могут и должны получить образование. Так была обоснована одна из самых значительных идей за всю историю человечества — идея всеобщего образования. Но ее осуществимость надо было доказать на практике. Кто это делает? Выбор истории пал на человека, казалось бы менее всего подходящего для выполнения такого трудного дела.

* * *

В 1766 году один двадцатилетний юноша полюбил девушку и решил предложить ей руку. Юноша был беден, девушка — из семьи богатого купца; надежд на брак было мало. Все же юноша написал девушке письмо и рассказал, что ее ожидает, если она решится принять предложение.

Прежде всего он отметил: «О моей внешней неприглядности я не хочу даже говорить: всякий знает, какой я красавец, какой ловкий человек». Слова «красавец» и «ловкий человек» не были поставлены в кавычки лишь потому, что иронический их смысл и так был понятен. Затем он говорил, что ему и, следовательно, ей «придется переживать жизнь, полную горя и трудов, потому что на беды отечества и на несчастья друзей я буду смотреть как на свои собственные, и когда зашла бы речь о спасении отечества, конечно, я забыл

бы и жену и детей». Далее он подробно перечислил недостатки своего характера и упомянул, что у него слабое здоровье.

Несмотря на все это — несмотря на то что он беден, некрасив, нездоров, с дурным характером и может легко забыть жену и будущих детей, — он все же предлагал руку девушке, известной своим богатством, красотой, грациозностью, умом и находчивостью. Впрочем, заключал он, «если вы признаете за лучшее отказать, то и откажите: надеюсь, что во мне найдется достаточно силы, чтобы отнестись к этому как следует разумному человеку и христианину».

Это было, возможно, самое странное предложение из всех, которые когда-нибудь делал какой-нибудь влюбленный юноша в мире. Но девушка приняла его. Брак был заключен, и оказалось, что юноша ни в чем не обманул свою невесту: все случилось так, как он и предсказывал, только еще быстрее. В два года из-за его непрактичности исчезло и его крохотное наследство и ее приданое, и они оказались нищими и почти всю жизнь — тридцать лет — прожили в невероятной бедности, такой, что хоть побираться иди.

Но еще оказалось, что Анна (так звали девушку) не очень ошиблась, вступая в брак, ибо после тридцати лет отчаянья, бедности и разочарований муж ее стал известен на весь мир, и великие философы, политические деятели и даже императоры приезжали к нему на поклон или принимали его.

Эта сказочная история произошла с швейцарцем Генрихом Песталоцци. Обойти его жизнь нельзя — такое большое значение имели труды Песталоцци для просвещения во всем мире и, в частности, в России.

Песталоцци родился в Цюрихе в январе 1746 года и за всю жизнь ни разу из Швейцарии не уезжал, если не считать его неудачной поездки к Наполеону, в Париж.

Отец его был хирург; он умер, когда Генриху было пять лет, оставив жену и трех детей почти без средств. Семья жила очень бедно и очень дружно: великодушие, самопожертвование, нежность и участие Генрих Песталоцци видел в семье с детства. Здесь и сформировался его характер, здесь и научился он любить людей: он видел, как умеют любить его мать, его брат и сестра, как предана семье служанка. В этом мире всему можно научиться: твердости, терпению, мужеству. Но любовь человек черпает только из чьей-то другой любви. Он должен получить заряд, или запас, или толчок к разви-

тию этой обременительной способности — способности любить, сочувствовать, сострадать.

В школе Генриху пришлось худо. Школьные предметы не интересовали его; учителя ругали его за невнимательность и лень и считали тупицей; за все годы обучения (да и позже) он так и не научился писать грамотно. Добавим к этому, что товарищи по школе травили его и дразнили: во-первых, он был «мужик», из деревни, а во-вторых, он имел привычку вмешиваться не в свои дела, заступаясь за слабых, так что ему попадало больше всех. «Он был добр до самозабвения, — пишет один из биографов Песталоцци, — он был впечатлителен до истерики и слез, вспыльчив до иступления — горячее, пламенное сердце билось в этом тщедушном, слабом, некрасивом ребенке». Однажды нищий попросил у него милостыню; денег у мальчика не было. Генрих нагнулся и снял серебряные пряжки с ботинок. Мальчишки бегали за Генрихом и кричали: «Вот чудак из чудачков из страны дураков!»

Окончив городскую школу, а потом коллегию (вместе они давали среднее образование), Песталоцци занялся политической деятельностью. В то время в Швейцарии положение бедняков было тяжелым, часто вспыхивали крестьянские восстания. Песталоцци мечтал пожертвовать жизнью ради крестьян, мечтал о жизни благородной и красивой. Он вошел в кружок друзей, пытавшихся возродить в обществе правила строгой нравственной жизни. Ему было уже лет восемнадцать, когда он вдруг стал ходить в самой бедной одежде, спать на голых досках и даже питаться одной травой (во всяком деле этот человек доходил до крайностей), отчего едва не умер. А друг его, Каспар Блюнчли, принявший такой же образ жизни, действительно умер; у постели умирающего и познакомился Генрих со своей будущей многострадальной женой.

К этому времени Песталоцци попадает в руки книга Руссо «Эмиль, или О воспитании». Руссо звал к свободе и к общественной справедливости.

Прочитав книгу, Песталоцци сразу решает, что его, Песталоцци, долг — жить в деревне, поближе к природе, среди простых людей. Он должен стать земледельцем, ибо, как уже говорилось, Руссо доказывал, что всякий праздный человек — плут. Так было и сделано: проработав с год на чужой ферме батраком (чтобы приобрести опыт) и отыскав компаньона со средствами, Генрих Песталоцци по-

купает участок в деревне Нейгоф, нанимает рабочих и строит огромный дом в итальянском стиле, гораздо более вместительный, чем нужно для его семьи. Дом, сожравший все его сбережения.

Хозяйствовать Песталоцци не умел: на полях его ничего не росло, батраки разбежались от него, компаньон забрал свою долю (пришлось отдать ему приданое жены), и остался Песталоцци с женою, ребенком, землею и домом — и без гроша денег. Но не страшно, прожил бы: часть земли отдал в аренду, часть сам распахал...

Однако тут ему пришла в голову новая идея — первая дельная идея в этой голове, ибо она-то, при всем ее кажущемся безумии, и привела Песталоцци к славе.

В то время по дорогам Швейцарии бродили сотни бездомных, нищих детей, не имевших ни пристанища, ни хлеба — «беспризорных», как сказали бы теперь. В городе дети бедняков работали на ткацких фабриках. Лишь к концу жизни Песталоцци был издан закон об охране детского труда: по этому закону к работе не допускали детей моложе девяти (!) лет, и рабочий день их ограничили 12—14 часами. Песталоцци решил найти способ облегчить участь бедняков. Он решил показать, что детей можно обучать фабричным специальностям и в то же время давать им кое-какое образование, что с детьми и в школе можно быть ласковым, как дома. Для этого он собрал в своем большом доме несколько десятков нищих детей и устроил для них приют. Воспитателей в приюте было два: сам Песталоцци и его жена. Они кормили детей, одевали и обували их, обучали в мастерских. Но денег не хватало. Песталоцци обратился за поддержкой к состоятельным людям. Пожертвований поступило мало. Песталоцци продал и заложил все, что можно было. «Я сам жил, как нищий, для того чтобы научить нищих жить по-человечески», — писал позже Песталоцци, вспоминая эти годы. Содержать детей было не на что, и наступил конец: всех их, неузнаваемо изменившихся, ласковых, приветливых, опрятных, отличавшихся прилежной работой, безукоризненным поведением и старательностью в учении, — всех пришлось опять выпустить на большую дорогу, в бродяжничество.

Песталоцци едва перенес этот удар. Он, наверно, и не перенес бы, если бы знал, что ему еще предстоит.

Он поседел, лицо его покрылось глубокими морщинами, спина согнулась; он казался безумным, и слух о его безумии распространился в округе. Друзья были уверены, что дело кончится сумасшед-

шим домом. Дети бегали за ним, как за юродивым, указывали на него пальцами и дразнили.

Чудак из чудачков из страны дураков...

Нищета стояла у порога; в пору самому надевать суму, чтобы прокормить семью.

Однако «убеждение в правильности моего плана никогда не было так сильно, как после полнейшей неудачи его осуществления», — писал Песталоцци.

Надо было зарабатывать на жизнь, и Песталоцци решил заняться литературным трудом. В короткий срок он пишет шесть повестей — и все уничтожает, ибо они кажутся ему невозможно слабыми. Лишь седьмую, нравоучительную книгу для народа «Лингард и Гертруда», в которой проповедаются важные идеи народного образования, он несет к издателю. Тот печатает книгу — и автор ее становится знаменитым. Книгу переводят на многие языки; Песталоцци присуждают премию; его наперебой приглашают в разные страны, чтобы он осуществлял свои идеи.

Почти двадцать лет подряд Песталоцци пишет одну книгу за другой, его издатели разбогатели на нем, а сам он получал гроши и был таким же нищим, как прежде. Золотую медаль, полученную за первую книгу, пришлось тут же продать: в доме ничего не было. Ничего, кроме всемирной славы. Революционное французское законодательное собрание присвоило восемнадцати иностранцам звание Почетного гражданина Франции за то, что они «в разных краях подготавливали пути к свободе». В числе этих восемнадцати — Георг Вашингтон, Тадеуш Костюшко, Фридрих Шиллер, Иоганн Генрих Песталоцци...

Песталоцци уже пятьдесят. Все такой же угрюмый, застенчивый, неловкий: жизнь голодающего бедняка заставит одичать кого угодно.

Но в это время ему предлагают создать колонию в Станце — городке, сожженном французами дотла. (Это был 1798 год. Война французов с австрийцами, восстания отдельных кантонов, жестокое усмирение восстаний — все это волнами прокатилось по швейцарской земле.)

Немного получил Песталоцци для приюта: давно заброшенный женский монастырь с холодными, сырыми комнатами и очень скудные средства. Опять никаких воспитателей, никакой прислуги. Пес-

талоцци предстояло быть директором, экономом, учителем, воспитателем, поваром и даже ночным сторожем...

Кажется, жена его дрогнула перед лицом этой новой невысказанной авантюры, дрогнула, не выдержала, потому что Песталоцци требовательно писал ей, больной, с нового места: «Я берусь за осуществление величайшей мысли нашей эпохи... Я не могу выносить твоего недоверия, и потому пиши мне письма, полные надежды. Ты ждала тридцать лет, и подождать еще три месяца уже не особенно трудно».

Трагичные и прекрасные строки.

«Я берусь за осуществление величайшей мысли нашей эпохи» — так люди приступают к делу.

Детей собралось около восьмидесяти: грязные, в лохмотьях, больные чесоткой, озлобленные, измученные, худые, как скелеты.

Дети, имевшие родителей, были, пожалуй, еще хуже сирот. Одни родители посылали ребят в приют лишь за тем, чтобы получить новую одежду, и тут же забирали их. Другие требовали с Песталоцци плату за детей: ведь дети, не попади они в приют, могли бы просить милостыню, приносить ее домой. Убыток!

«А через полгода детей нельзя было узнать, — пишет один из биографов Песталоцци, — это были чистоплотные, скромные, трудолюбивые ребята, души не чаявшие в своем «отце».

Как удалось это сделать? Песталоцци объяснял свой метод:

«С утра до вечера я был среди них. Все хорошее для их тела и духа шло к ним из моих рук... Моя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыбка следовала за их улыбкой. Они были вне мира, вне Станца, они были со мной, и я был с ними. У меня ничего не было: ни дома, ни друзей, ни прислуги, были только они».

Воспитанники Песталоцци много работали, полностью обслуживали приют со всем его хозяйством, и труд был не воспитательной мерой, а необходимостью, и оттого он воспитывал, соединял ребят, приучал к дисциплине. Ребенок стремится к добру, но «не для тебя, учитель, и не для тебя, воспитатель, а именно для самого себя... Ребенок должен сознавать, что твоя воля определяется необходимостью, вытекает из положения вещей», — говорил Песталоцци. Он не внушал правила морали, не читал нотаций. Никогда ничего не требовал от детей и не приказывал им. Со времен язычества и раннего христианства, говорил он, люди стали верить в силу проповеди,

нравоучения. Но это простая болтливость! Истина должна сама вытекать из положения вещей, которое видит ребенок, иначе она кажется ему «непонятною и утомительною игрушкой».

Случилось так, что по соседству со Станцем французы сожгли село Альтдорф: его жителей подозревали в помощи восставшим.

Песталоцци собрал своих воспитанников:

— Альтдорф сгорел. Может быть, в эту минуту по пожарищу бродят около сотни детей без крова, без пищи, без одежды... Хотите ли вы им помочь? Но для этого каждому из вас придется больше работать, получать меньше еды и поделиться своей одеждой с новичками.

Это могло показаться жестким экспериментом, но это вовсе не был эксперимент: это была необходимость. Песталоцци обращался к чувству ребят, их совести и никогда не ошибался: сострадание рождает сострадание.

Всего полгода продержался приют. Судьба, словно задавшись целью до конца испытать этого человека и его преданность детям, нанесла ему новый удар: разбитые австрийцами французы вошли в Станц и устроили в монастыре, где основался Песталоцци, свой лазарет.

А Песталоцци с его детьми они просто выгнали в чистое поле. Один на дороге седовласый старик, больной, измученный, потрясенный несправедливостью, а вокруг него несколько десятков ребят, которым некуда податься...

Песталоцци ушел от них, и ребята опять разбрелись кто куда — просить подаяния, бродяжничать.

Отчаяние овладело Генрихом Песталоцци. Долгое время он был, по его словам, в состоянии «онемения». «Казалось, и физические, и душевные силы совершенно оставили этот живой труп. Измученное лицо его было просто страшно, а душа действительно словно совершенно онемела», — говорится в одной из биографий Песталоцци.

Но силы этого человека не имеют предела; проходит время, и вот мы видим его помощником учителя в школе грамотности. Сам учитель — башмачник, он завидует Песталоцци и распускает среди родителей слух, что новый его помощник не умеет ни читать, ни писать, да к тому же еще и безбожник.

Сапожник был почти прав. Песталоцци говорил о себе другу, что он действительно не умел ни правильно писать, ни читать, ни считать. Но и это неумение свое он обратил в достоинство: он выра-

ботал такой простой метод обучения, что, «пользуясь этим методом, даже самый неопытный и незнающий мог добиться цели».

Песталоцци переходит в новую школу (это было в Бургдорфе), тоже на должность помощника учителя, хотя он и был автором всемирно известных книг, хотя ему прежде поручали целый приют. Но у него была удивительная способность не внушать доверия к себе. В школе, где он сам учился, его считали попросту идиотом; теперь, спустя пятьдесят лет, — безумцем, полупомешанным, ни на что не годным стариком. Очень редкие люди умеют принадлежать сразу двум царствам: царству детей и царству взрослых. Обычно же тот, кто слишком увлеченно возится с детьми, выглядит для взрослых чудачком, впадшим в детство.

Итак, Песталоцци в новой школе, учит детей грамоте. Но как учит! Вновь он ничего не требует, не заставляет зубрить, не наказывает детей, относится к ним с уважением; вновь его ученики оживлены на уроке, внимательны, старательны — и дело идет быстро!

Вокруг школы поднялись споры. Назначили большую правительственную комиссию. Песталоцци получил свидетельство: «Вы исполнили все, что вы обещали, когда говорили о применении вашего метода. Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период самого нежного возраста... Удивительный успех ваших учеников, достигнутый при самых разнообразных способностях каждого из них, ясно убеждает, что из *всякого* ребенка может быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет понять особенности его умственных способностей и психологически верно приняться за их развитие».

Все это и было главным делом жизни Песталоцци. Он доказал, что каждый ребенок, без исключений, *может* получить начальное образование, и выработал методы, с помощью которых это обучение стало возможным.

Песталоцци наконец поверили. Ему отдали бургдорфский замок для устройства образцового учебного заведения. Теперь явилась толпа добровольных помощников; ученики приходили отовсюду — все хотели учиться у Песталоцци учить детей. Еще бы: он в полгода выучивал детей читать, писать и считать — то, на что обыкновенный сельский учитель тратил три года. «Тайна успеха, — говорилось в отчете одной из комиссий, — заключается в том, что тут стараются только помочь природе и она является настоящею учительницей. При этом способе учитель как бы скрывается за учением... Учитель не яв-

ляется ученикам чем-то высшим, как это обыкновенно бывает, — он минуту за минутой переживает с детьми, и со стороны кажется, что не он их учит, а сам с ними учится».

В другом отзыве говорилось: «Его система пригодна для всех времен и народов. Она проста и последовательна, как природа...»

Но что стоила самому Песталоцци его «система» — об этом мало кто догадывался. В самые трудные дни организации приюта в Бургдорфе Песталоцци получил известие, что его единственный сын умирает в Нейгофе... Сын, которого он так любил, которого сам учил, следил за каждым его шагом.

Песталоцци не поехал к умирающему. Он не мог оставить Бургдорфа ни на один день. Только с еще большей яростью принялся за работу. Чем еще он мог пожертвовать детям? Своей жизнью? Наверно, он не задумался бы, если бы пришлось...

Через сто сорок лет после этого дня другой педагог в другой стране пойдет в фашистскую камеру, чтобы до последней минуты быть со своими воспитанниками и целиком разделить их участь. Это польский учитель Януш Корчак. Учителя учат, пока живы, и живут, пока учат.

Все дни напролет проводил Песталоцци с детьми и от помощников своих требовал того же. Популярность его достигла необычайных размеров. Он стал гордостью Швейцарии.

И тогда... Читатель, вероятно, уже догадывается: опять крах. Да, так оно и было. Всего четыре года работал Песталоцци в Бургдорфе. Институт не нравился правительству: «Рассадник демократизма». Песталоцци — ему было уже около шестидесяти лет — вынужден был искать новое место.

Но на этот раз вся Швейцария пришла в движение, все возмутились преследованиями великого педагога.

К Песталоцци стали являться делегации из многих городов и стран — приглашать его к себе. Его звали и в Россию — в Дерпт, в Ригу, в Вильнюс, и он уже совсем было собрался вместе с женой перебраться в наши края, но потом передумал. Он выбрал город Ивердон, в Швейцарии, на берегу Невшательского озера. Четвертая, последняя попытка человека. Нейгоф, Станц, Бургдорф, Ивердон...

Институт в Ивердоне существовал двадцать лет, с 1805 по 1825 год. Жил институт шумно: двести воспитанников из разных стран, несколько десятков молодых людей со всех концов Европы,

обучавшихся искусству Песталоцци, и каждый день — посетители. Их встречал 70-летний старик; он неистово размахивал руками, носился по институту нервной, подпрыгивающей походкой, без усталости показывал свое хозяйство и без конца говорил о том, что каждого крестьянского ребенка можно обучить, что образование народа есть необходимость, и к нему прислушивались. Он и его идеи были необходимы, ибо этот «безумец» выражал главную мудрость века, ставшего для многих стран мира веком всеобщего начального образования.

Даже император Александр I во время пребывания его в Базеле согласился принять Песталоцци. Это было в 1814 году. Старик педагог, некрасивый, с взъерошенными волосами, с лицом, изрытым оспой и покрытым веснушками, начал убеждать русского царя отменить крепостное право и дать крестьянам образование. Он пришел в азарт и наступал на своего царственного собеседника, а тот пятился от него, пятился, пока не уперся в стену. Отступить было некуда, и Песталоцци, настигнув царя, сделал движение, чтобы схватить его за пуговицу мундира... Царь отшатнулся, старик опомнился.

Песталоцци весь мир готов был схватить за пуговицу, за воротник, за горло: дайте детям бедняков образование, восстановите справедливость!

Работал в эти годы он по двадцать часов в сутки. Ложился в десять вечера, а в два часа ночи — так бывало часто — уже начинал диктовать свои записки одному из учеников. И так до утра, когда поднимался институт, и Песталоцци выходил к детям на весь день. Он замучил своих помощников: далеко не каждый мог вот так, круглые сутки, проводить с детьми, быть у них на виду. А скрыться некуда: учителя, утверждает один биограф, даже стали строить себе шалаши в лесу, чтобы хоть на несколько минут уединиться. Несмотря на огромную работоспособность, Песталоцци не мог уследить за всем, да и не очень-то он был практичен, не слишком хороший организатор. К тому же — сумасшедшая идея! — он основал еще одно заведение: «для воспитания бедных, которые со временем сами могли бы воспитывать и учить бедных», что-то вроде учительской семинарии.

Чудак из чудачков из страны... дураков?

За шесть лет семинария съела все скудные сбережения Песталоцци; в самом институте начались раздоры. Помощники его, которым он слишком доверял (он всем доверял сразу и безоговорочно), ушли

из института и стали сочинять пасквили на своего учителя. К 1825 году — Песталоцци было 79 лет — оба института пришлось закрыть.

Последнее детище Песталоцци, Ивердон, погибло... Умер сын, скончалась многострадальная и до конца верная Генриху жена. Он вернулся в Нейгоф — туда, где начинал работать с детьми. Вернулся умирать, но ему было подарено еще три года жизни, и он написал за это время несколько книг, в том числе знаменитую «Лебединую песнь» — записки о своей страдальческой и бурной жизни. История выбрала для совершения подвига слабейшего, но нравственные силы человека весомее физических.

Умер Песталоцци восьмидесяти с лишним лет, в 1827 году. На памятнике его в Ивердоне вычеканили среди других строчек и такую:

ВСЕ ДЛЯ ДРУГИХ, НИЧЕГО ДЛЯ СЕБЯ.

Глава восьмая



цена Песталоцци с Александром I — довольно точная модель отношений русских правителей с просвещением: просвещение наступало, прижимало царя к стене. Царь вынужден был выслушивать его требования, даже поддакивать им... Но чем все кончалось? Царь в страхе отшатывался.

Начало века, казалось бы, не предвещало ничего дурного. Движение, произведенное просветителями, несмотря на арест Радищева и Новикова, не останавливалось. Александр I был хорошо образован, воспитан республиканцем Лагарпом. Усиленно говорили о предстоящем будто бы освобождении крестьян, потому что развивалась промышленность и новым фабрикам и заводам нужны были свободные рабочие руки. Тем же заводам нужны были грамотные мастера. Спустя полвека некрасовский герой скажет: «Грабили нас грамотеи-десятники». Но откуда-то они должны были взяться, эти самые «грамотеи»!

В самом начале века появилось министерство народного просвещения — народное образование присоединили к государству, как присоединяют новые области после успешной войны. Учителя обрели начальство. Теперь они получали жалованье не из пожертвований, а от казны и становились такими же чиновниками, как и служащие других министерств и департаментов.

Три гимназии оставил в наследство XVIII век — в Петербурге, Москве и Казани. В первое же десятилетие нового века их стало тридцать две — в десять раз больше. В 1804 году разработали новый школьный Устав. Гимназии открывались торжественно, с церковными песнопениями, с пышными банкетами, — не беда, что гимназистов поначалу было всего полтора-два десятка. Открыли университеты в Харькове и Казани, вслед за ними, в 1819 году, университет в Петер-

бурге (он вырос из Педагогического института — того самого, который был учрежден Янковичем).

При этом были объявлены самые широкие, можно сказать, прекрасные цели.

Например, об одногодичном приходском училище говорилось, что оно должно «доставлять детям земледельческого и других состояний сведения им приличные, сделать их в физических и нравственных отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки».

План невозможно утопический: за год? За год по тем временам и грамоте еле могли научить.

Обучение было объявлено бесплатным; в училища и гимназии принимали решительно всех — даже детей крепостных; университеты получили самоуправление; в 1809 году был издан указ, по которому для получения чина надо было выдержать экзамен — доказать свою образованность. «Стон и плач распространился по целой империи», — пишет один современник этих событий, имея в виду оскорбленное чиновничество: не преданность начальству, а знание вдруг объявлено было двигателем карьеры!

И сегодня в труде английского специалиста по сравнительной педагогике Н. Ханса можно прочитать, что русская школа самого начала XIX века была «первой демократической школой в Европе».

Николай I, придя к власти, тоже вроде бы горячо заботился о просвещении. В конце века даже книга такая вышла: «Император Николай I, зиждитель русской школы».

Новым, третьим по счету уставом 1828 года была создана довольно широкая сеть приходских и уездных училищ; срок обучения в гимназиях увеличили с четырех лет до семи, резко — в два с половиной раза — повысили жалованье гимназическим учителям. Николай лично посещал гимназии, а во вновь созданное училище правоведения мог, например, приехать тайно и направиться для инспекции не к директору, а прямо в дортуары воспитанников. В 1839 году открываются реальные гимназии, в них преподают естественную историю, химию, технологию, механику, бухгалтерию. Один за другим появляются институты: технологический, Институт гражданских инженеров; реорганизуют горный и лесной институты.

И все было бы ничего: не очень торопливое, да все же развитие, если бы одновременно с этим не укоренялась особая педагогика,

изобретенная, кажется, лично Николаем I, не без идейной помощи педагогов прусских.

Во времена Екатерины II народное образование было скорее проектом, чем действительностью, но и тогда, в XVIII веке, уже известный нам князь Щербатов, историк и публицист, задавал вопрос:

«Ежели подлый народ просветится и будет сравнивать тягость своих налогов с пышностью государя и вельмож... тогда не будет ли он роптать на налоги и, наконец, не произведет ли сие бунта?..»

Пока мечтали, пока произносили речи и писали статьи о пользе образования, все было отлично. Но когда стали созревать первые плоды просвещения, пришлось задуматься: что же с образованием делать? Не произведет ли оно в самом деле бунта?

Признаки опасности были налицо.

Еще в 1793 году застрелился ярославский помещик Опочинин. Стрелялись и вешались, топились или травились, очевидно, и до Опочинина, но человек с такой многозначительной фамилией (не от слова ли «почин»?) изобрел новую причину для стрельбы в самого себя: он сделал это из-за «отвращения к русской жизни». Перед смертью он отпустил на волю часть своих крестьян, другим роздал весь хлеб из своих амбаров, роздал все. Осталась библиотека. Книги. Что с ними делать? Кому завещать их в ярославской глуши? «Книги!.. Мои любезные книги!.. — не без сентиментальности, в духе Карамзина, писал Опочинин в предсмертном письме. — Не знаю, кому оставить их. Я уверен, что в здешней стороне они никому не надобны...» Опочинин находит для книг тот же единственный выход, что и для себя самого: «Прошу покорно моих наследников предать их огню...»

Сам он этого сделать не мог. На себя у него рука поднялась, а на книги — нет.

История, в которой все символично. Человек, образованный, начитанный, тонко чувствующий, не знает, что ему делать со своим образованием, куда приложить силы, где найти место. Ни он со своими знаниями (впрочем, может быть, и полужнаниями), ни книги его никому не нужны. Времена Новикова прошли. Над Россией вставала фигура «лишнего» человека, и, быть может, Опочинин был первый в этом длинном ряду, печальный прообраз многих литературных героев.

Образованных людей было еще немного, но как только они по-

явились, они сразу же вступили в противоречие с жизнью. Пока они могли собираться вокруг Новикова, издавать книги, писать в журналы, все было довольно хорошо. Но как только Новикова и Радищева арестовали и просветительская деятельность прекратилась, им, образованным, в своем роде изнеженным людям, стало невольно душно... Они или стрелялись, или спивались, или превращались в таких матерых чиновников, что уж лучше бы и неграмотные были на их месте. Сын княгини Екатерины Дашковой получил блестящее — не только по тем временам, по любым временам — образование: заслужил степень магистра изящных искусств в Эдинбурге, брал уроки математики у д'Аламбера, учился гравированию и акварельной живописи в Италии. Наконец вернулся в Россию. Что же с ним стало? Губернский предводитель московского дворянства. Стоило ли заниматься в лучших учебных заведениях мира?

Но уже через тридцать лет после смерти Опочинина образованные люди вновь нашли применение своим знаниям: они повели полки на Сенатскую площадь. Восстание декабристов было первым в России восстанием, возглавлявшимся просвещенными людьми. Можно было бы сказать — «интеллигентными», но это слово вошло в обиход лишь в 60-е годы XIX века.

Николай I — ему нельзя отказать в проникательности — сразу установил, что между восстанием декабристов и развитием просвещения есть определенная связь.

Образование пока что имело только дворянство, и вот уже оно дает ответный урок на Сенатской площади. А если выучить весь «подлый» народ? Что тогда будет?

Когда царь стал ездить по гимназиям, он делал это вовсе не из любви к знаниям. Самого-то его с трудом кое-чему выучили — принуждениями, угрозами и розгой. Русского императора в детстве жестоко секли! И лучше всего он умел поднимать ружье «на плечо», ставить его с мгновенным грохотом «к но-ге» да барабанить в армейский барабан. В этих делах он мог показать личный пример любому солдату и барабанщику. В гимназии же ему нечего было делать. Царь ездил по гимназиям, как разведчик во вражеском стане. В гимназии таились его враги. С начала XIX века для правительства стало очевидным, что, продолжая дело народного просвещения, оно тем самым роет себе могилу.

Перед каждым новым Романовым, занимавшим русский престол,

возникла одна и та же неразрешимая до конца задача: как совместить просвещение с сохранением власти?

Каждый из них, начиная царствовать, с монотонным однообразием обнаруживал и объявлял, что *до него* школ для народа фактически не существовало, и принимался создавать их будто вновь. Так было с Екатериной II, и с Александром I, и с Николаем I, а позже с Александром II. И каждый новый Романов, используя печальный опыт предыдущего (а положительного опыта так и не было, только печальный), пытался найти меры, которые охранили бы самодержавную власть от угрозы со стороны просвещения.

Екатерина II была еще неопытна. Она слишком боялась Пугачева и, кажется, не ожидала удара с другой стороны — со стороны Радищева и Новикова.

Александр I действовал осмотрительнее: при нем за бунт уже считали, например, случай в Педагогическом институте, когда 24 студента, войдя в сговор с портным, сшили себе мундиры *неуставного* покроя (наверно, расклешили или, наоборот, заузили панталоны). Из этого вышла целая история. Но правительство Александра, как и он сам, было непоследовательно: то посылали студентов учиться за границу, то, когда они возвращались и становились профессорами, увольняли их за свободолюбивые мысли; то отменяли плату за обучение, то вновь вводили ее; то открывали, то закрывали школы. В начале царства учредили Казанский университет, а в конце раздавался призыв разрушить его до основания, срыть как источник крамолы. Александр I крамолу допускал, а уж потом, когда она становилась явной, пугался ее и расправлялся с ней.

Николай I был основательней своих предшественников. Он старался довести надзор за образованием до самых его истоков. Так, чтобы никому и в голову не могло прийти сшить себе неуставный мундир, не говоря уж о том, чтобы высказать вслух неуставную мысль. Что мундир? Когда инженерам-путейцам высочайшим разрешением «дали усы», то есть позволили не сбривать их, — это казалось великой милостью со стороны императора.

Один из самых первых рескриптов Николая был такой: «Воспретить всякие произвольные преподавания по произвольным книгам и тетрадам!»

Не только арестовывали и ссылали литераторов, не только (следующую ступень вглубь) лишили университеты самоуправления,

запретили преподавать философию, приказали «очистить» все науки от «вредных умствований» — надзор был доведен до каждой гимназии, до каждой учительской комнаты, до каждого класса, учебника, тетради... глубже идти было некуда. Николай I мечтал о системе, которая придавила бы свободолюбивую мысль не тогда, когда она расцветет и станет стихотворением, трактатом, революционным кружком, восстанием, а в самом ее зародыше — на школьной парте.

Вот откуда его внимание и «любовь» к делам народного образования. Николаевский министр народного просвещения граф С. С. Уваров говорил в свое время одному начинающему профессору: «Знайте, молодой человек, что министр народного просвещения в России не я, не Сергей Семенович Уваров, а император Николай Павлович. Знайте это и помните».

В 1827 году Николай I, «зиждатель русской школы», коронованный министр просвещения, посетил Псковскую гимназию и остался поначалу доволен ею. Но затем вдруг оказалось, что в гимназии нет учащихся дворян: все разночинцы. Николай тут же приказал закрыть ее «вплоть до особых распоряжений», и ее действительно закрыли на целых семь лет. В другой раз царь приехал в Санкт-Петербургскую гимназию и, покидая ее, сказал недовольно директору:

— У вас все хорошо по наружности, но что за лица у ваших воспитанников?

Лица были неблагородные...

Осмотрев Харьковский университет, Николай I сделал замечание гг. профессорам: дескать, слишком много заимствуют они у западной науки. «Я плотно закрою все окна на запад», — объявил император и уехал. Попечитель же учебного округа немедленно приказал заложить в университете все выходящие на запад окна. Их замуровали почти на 70 лет.

В рескрипте 1826 года царь писал об учебных заведениях: «Я с сожалением вижу, что не существует в них должного и необходимого однообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так и учение».

Однообразие! Одного вида гимназисты в блестящих мундирах, производивших нелепое впечатление: «спереди кофта, а сзади фрак», с громадными стоячими воротниками — «красной говядиной». Единная система поддержания дисциплины — никакого панибратства, никаких поблажек, никаких объяснений учителей с учеником: розги,

карцер, исключение. Система! Единые программы. Единые учебники по всей стране. Одни и те же речи на уроках. Одни и те же ответы учеников. И одни и те же отметки, введенные Николаем в 1837 году: «5», «4», «3», «2», «1».

Ведь это только кажется, будто всякое обучение, всякое образование — благо. На самом деле подбором предметов и методических правил можно, обучая, знаний не давать. «Совершенно непостижимые для детского ума математические и грамматические формулы и определения, не объясняемые... ни единым живым человеческим словом, ложились на мой ум тяжелым свинцом», — вспоминает о своих гимназических годах в те времена писатель Н. Н. Златовратский. Он пришел в гимназию, искренне веря в бога, но даже от этой веры гимназия, задуманная как проводник «православия, самодержавия и народности», быстро отучила мальчика, заставляя каждый день зубрить: «Вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем... Вера есть уповаемых извещение... вещей обличение невидимых...» Волосы мальчика встают дыбом, вспоминает писатель, глаза начинают безумно блуждать, в сердце медленно вливается отчаяние... И мальчик опять гудит безнадежно: «Вера есть уверенность... уверенность... как бы обличение... уверенность уповаемых...»

— Папаша, что значит «уповаемых уверенность»?

Но и папаша, получивший духовное образование, не знает, что значит «уповаемых уверенность», только плюет и сердится на бестолковость учебника. «Зубри!» — вот все, что он может посоветовать сыну.

Каков же был результат стараний Николая I и его министра Уварова, впоследствии тоже уволенного за либерализм, ибо найдено было, что вместе с латинскими авторами в гимназию проникли республиканские идеи?..

Здесь возможен привычный оборот: «Несмотря на жестокий гнет», и так далее. Но такой ход мысли кажется не совсем правильным. Не *вопреки* до крайности доведенному бездушию николаевской системы, а *благодаря* этому бездушию система так мало влияла на учеников и учителей.

Кроме теоретического (труды ученых) и административного (постановления, программы, учебники), существует еще третий, *реальный* уровень педагогики.

И вот на этом *реальном* уровне внедрить какую бы то ни было «систему» невероятно трудно. И дурную систему так же трудно внедрить, как и хорошую. Реальную педагогику творили тысячи учителей и десятки тысяч учащихся, вступающих в сложные отношения между собой, и дело не в том, что среди этих тысяч были живые люди, хорошие педагоги (разумеется, были!), а в том, что, по многим свидетельствам, все педагоги — и хорошие и дурные — принимали николаевскую систему с равнодушным покорством, не вкладывая в нее сердца, выполняя свои обязанности механически, без малейшего увлечения, — «как переписывает безучастно в канцеляриях бумаги любой человек».

Николай I довел надзор до учебника и до тетрадки, но даже такой надзор абсолютно неэффективен, пока он не затрагивает души. Пример для пояснения: искренне верующий человек, согрешив в *мыслях* против бога, торопится покаяться, замолиť грех — религиозный «цензор» сидит не где-нибудь, а в самой голове верующего. Ничего подобного не рождала николаевская система: она не могла затронуть головы и сердца, оставляя всех безучастными к идеям, проводимым системой. Все, чего она могла добиться, — это формального, внешнего выполнения установленных правил.

Гимназисты ходили в гимназию и зубрили уроки, гимназические учителя задавали «от сих до сих», ставили двойки и колы, посылали неисправимых к солдату — сечь розгами (солдат был непременной принадлежностью каждой гимназии), но и те и другие, все, начиная с директора и кончая первоклашкой, — все выполняли свои обязанности формально, апатично. Когда последний раз ударял колокольчик, возвещая о том, что ежедневная утренняя комедия на сегодня кончилась и все расходились по домам, учителя, переодевшись в халаты, превращались в добродушных отцов семейства, а ученики — в обыкновенных живых мальчишек-бузотеров. «Николаевщина» царила в русском государстве и обществе, а вот у нас, у мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине», — свидетельствует известный в свое время писатель П. Боборыкин.

Система мучила, озлобляла, отупляла, но ни в ком не вызвала воодушевления, искренней привязанности. А где нет воодушевления, там нет и воспитания.

И это обстоятельство фактически означало полный крах николаевской системы, полную ее непригодность даже для той цели, для

которой она была столь тщательно разработана, — для цели обуздания. Все получилось прямо наоборот: схоластические, никчемные гимназические науки как раз и толкали гимназистов на поиски истинного знания, яркой мысли. «Белинский... был решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский со своими ежемесячными статьями», — пишет выпускник училища правоведения критик В. В. Стасов. А другой выпускник того же училища, юрист-демократ В. И. Танеев, брат известного композитора С. И. Танеева (в Москве есть улица, названная именем братьев Танеевых), показывает, к чему привела николаевская дисциплина в училище.

«Несмотря на потерянное время, — пишет он, — на расстроенное здоровье, несмотря на перенесенные страдания, я был благодарен школе и думаю, что воспитание мое было скорее благоприятным, чем неблагоприятным. Оно не допустило меня подчиниться, примириться, устраивать свои дела в окружающей среде, угождать тем, кто притесняет. Оно так меня раздражило, что этого раздражения достанет на целую жизнь».

Талантливые люди всегда благодарны своим учителям, даже плохим, потому что они и у таких умудряются выучиться. Но последняя фраза В. И. Танеева прекрасно объясняет одно парадоксальное явление: почему в николаевской школе-казарме выросли революционеры-шестидесятники. «Раздражения» против системы достало не на одну жизнь Танеева — на тысячи жизней.

По кончине батюшки моего учителя села Мологино Алексея Раменского определен я, сын его, Пахомий, на тую же должность и состоял в оной должности учителем села Мологино в церковно-приходской школе с лета 1834 по 1869 год мая 17 дня. И оставил оную должность по слабости телесной,

Третья запись в семейной хронике учителей Раменских.



глубину России, верстами и верстами проселков, от деревни к деревне — «Эй, любезный, далеко ли будет до Мологина?» — и вот неожиданное, не подготовленное никакими предварительными признаками, открывается с пригорка большое село. Как его занесло сюда? Кто собрал сотни крестьянских изб именно в это место, кто поставил в глуши богатый храм, такой, что и Москве был бы он украшением? Какие мастера?

Трудно проникнуть в прихотливые законы расселения, передвижения людей и скопления их в приглянувшихся местах. Трудно уловить вековой ритм постепенного разрастания и такого же медленно угасания села. Будто развертывается, а потом, исчерпав внутренние силы, свертывается вновь что-то живое, огромное, неповоротливое...

И по каким приметам судить, на рост ли село идет или на убыль? Может быть, по сельской школе, раз уж, взглядываясь в историю, выбрали мы такую точку зрения?

Вот оно, местное мологинское училище, рядом с храмом, а вот и местный учитель Раменский III, сын учителя и внук учителя... Каким мы его встретим? Так же ли он тих и благообразен, как его отец? Что сделало время с Раменскими, как выразил свое время новый Раменский?

Но что это? Наш учитель — прислуживает в церкви.

Занятие не из лучших. Что поделаешь? Трудные времена. С домашним образованием теперь даже сельским учителем не станешь, а учиться... на какие средства?

— Батюшка, ты почему меня в гимназию не отдал?

— Сынок, ты бы меня раздел. Суконные брючки, шинель, фуражечка... А в бурсу — простые сапоги да стуртучишко.

И вот Пахом Раменский — бывший бурсак, теперь дьячок в мологинской церкви и... жуткий безбожник. Уже и церковь сгорела, уже от Мологина и половины-то прежнего не осталось, сто лет прошло после того, как занедужил и ушел на вечный покой дьячок Пахомий, а помнят в селе: мол, был такой безбожник, богохульник, любитель выпить, сплясать, попеть, побродить с ружьем по лесу — охотник. Трижды его выгоняли со службы, да все миловали: семья у Пахома — 18 душ, ребятишки один другого меньше. Отними у отца заработок — кто такую ораву прокормит?

В ученых книгах, в наставлениях по пунктикам перечислено: учитель должен быть примерный да строгий, внимательный да прилежный... такой да сякой. Но из всех школьных учителей в памяти учеников больше остается какой-нибудь чудак, которым вечно недовольно было школьное начальство и который не столько уроки рассказывал, сколько истории из своей жизни. Таким и был Пахом — просто живым человеком, «живым, и только. До конца». От живого, страстного, хотя и несовершенного в своих качествах, — от живого и жизнь идет. Учитель — не ангел с крылышками, и не с херувимчиками имеет он дело. От ангела до ненавистного всем человека в футляре, склеенном из предписаний начальства, — один шаг. Не ангел, не душа в футляре, не особого рода существо, будто специально рожденное для поучений, а также исправления несчастных детей, — живой, земной, грешный человек, понятный детям и в достоинствах своих, и в пороках, нескованный — распахнутый для детей.

Строгостей много было в те времена. Система давила школу, а Пахом из системы выбивался, как и многие учителя. Беспорядочная его жизнь, неумный характер никак не укладывались в рамки системы. Пахом Раменский, сам, наверно, не подозревая этого, а просто наследственным учительским чутьем угадывая правду, спасал ребячьи души от всепроникающего «порядка», вызывал их на непослушание, толкал на вольности. И природная всем Раменским любовь к литературе у Пахома обернулась по-своему, по-новому. Не старинные предания интересуют его —

сегодняшняя литература; в глухом Мологине стараниями шумливого дьячка знали и читали лучших русских поэтов, лишь только имена их начинали сверкать.

По окрестным дворянским усадьбам шастая, Пахом таскал к себе в училище что под руку попадет, но, конечно, не вещицами прельщался — книжками. Старый журнал со стихами Лермонтова, Кольцова или Некрасова, сборничек песен Беранже — их сатирический настрой очень был по душе людям в те годы, — все принесет Пахом да ночью, не жалея себя, и переписет, и сошьет переписанное в книжицу, понесет на урок, пустит по деревне из избы в избы... Грамотные в Мологине в каждом доме!

Что Пахому утвержденная начальством программа? Что ему «единообразие»? Мы оказались бы в дураках, посмеялся бы над нами из небытия своего старик Пахом, если бы и впрямь поверили, будто по программам жили сотни и тысячи школ, рассыпанные по стране. Свои представления были у Пахома, свои боли... Время от времени открывал он огромную — не унесешь, не украдешь — книгу, еще дедом его заведенную, и продолжал летопись села Мологина. Эта книга исчезла, сгорела в Отечественную войну в 1941 году, но кое-какие странички из нее когда-то переписал один лобознательный подросток, потомок Пахома, и они сохранились¹.

«1837 год. С великим душевным прискорбием узнали о последовавшей в Санкт-Петербурге в день 29 сего января 1837 в пятницу в 2 часа пополудни кончине великого пиита земли русской Александра Сергеевича Пушкина. Потеря невозвратная и невозградимая. 10 сего марта 1837 была совершена заупокойная литургия по боярину Александру в храме села Мологино...»

Гибель Пушкина в далеком Санкт-Петербурге для Пахома событие личной жизни, событие из истории села Мологина. Хотя, быть может, он и не знал, что Пушкин не своей смертью умер — убит. Первое печатное упоминание о дуэли появилось лишь в середине 40-х годов. А может, все знал Пахом.

Всё видят, всё знают мологинские учителя. Всему есть место

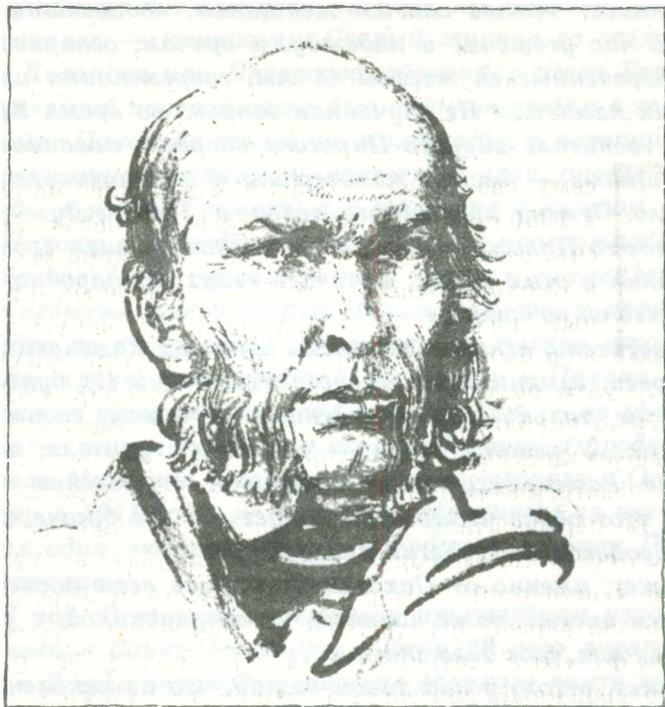
¹ Их сохранил Антонин Аркадьевич Раменский, бывший учитель, историограф семьи Раменских. Он и сообщил автору многие сведения о семье учителей Раменских, познакомил с документами из истории семьи. Автор выражает А. А. Раменскому глубокую признательность.

в летописи Мологина: восстание декабристов, — командир расквартированной в селе части и два унтер-офицера арестованы и с жандармами препровождены в Старицу, уездный город. Севастопольская оборона, — и чувствительный Пахом пишет в семейной книге: «Слава слабым женщинам, подававшим в предсмертный час утешение и надежду, и врачам, оспаривавшим у смерти обреченные ей жертвы. А мы, современники их, сохраним о них память...» Не случайная запись: во время Крымской войны в госпитале хирурга Пирогова впервые появились «слабые женщины» — сестры милосердия, и это поражало всех и восхищало. Отмена крепостного права в 1861 году, — Пахом достает где-то Положение еще до того, как пришел срок его обнародования в этих краях, и читает вслух принародно, с амвона... Ничего он не боялся.

Просветитель, основатель школы Алексей Раменский I; ученый человек, гуманитарий Алексей Раменский II; бунтарь, разночинец не только происхождением — духом своим Пахом Раменский... У каждой эпохи — свой образ учителя, и каждое поколение Раменских, чутко улавливая стремление времени, вносит в этот образ что-то свое, делает его все богаче и богаче. Долгий процесс, два столетия длится он.

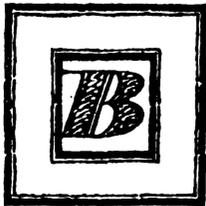
И может, именно от Пахома передались всем последующим Раменским чистые, даже наивные, но с лукавинкой, с усмешечкой глаза: мол, свое дело знаем....

А может, оттого у них такой взгляд, что из поколения в поколение, с молодости до старости, все Раменские смотрелись в одно чистое зеркало: в глаза детей.



Николай Иванович Тирогов при-
бавил к славе хирурга славу пер-
дающего и произвел решительную
операцию в науке воспитания.

Глава девятая



сему свое время. Статья эта была написана еще в 1850 году, она расхождалась в списках по всей России, ее обсуждали в гостиных; декабристы, сосланные в Сибирь, писали о ней восторженные письма родным, но надо было проиграть Крымскую войну, должен был умереть Николай I (своей ли смертью умер? Ходил слух, будто он отравился, не вынеся позора), чтобы статью эту можно было опубликовать, да и то — где? В весьма далеком от вопросов педагогики журнале «Морской вестник».

Ни одна педагогическая статья в прошлом веке не наделала такого шума. Ее перепечатали другие издания и даже официальный «Журнал министерства народного просвещения»; ее перевели на французский и немецкий; в Париже ее выпустили отдельной книжкой, — кажется, первое педагогическое сочинение, переведенное с русского языка. «Эта статья, — писал педагог Д. Д. Семенов, — произвела совершенный переворот в наших взглядах на воспитание и образование. Ее читали и во дворце, и в бедных квартирах, и великосветские дамы, и скромные матери семейства».

Статья не то чтобы принесла славу автору — скорее, наоборот: слава автора придала особое значение статье. Он не был педагогом, он честно признавался, что сам он не может ответить ни на один из своих риторических вопросов.

Но статья называлась «Вопросы жизни», автором ее был герой Севастополя, 46-летний профессор-хирург Николай Иванович Пирогов, и это был первый выстрел по николаевской системе просвещения, механически продолжавшей действовать и после смерти самого Николая I. Скальпель хирурга попал в самое больное место. Во времена, когда даже художник был не просто художником, а в первую очередь чиновником (И. К. Айвазовский имел звание «живописца мор-

ских видов» и право носить мундир морского ведомства), когда все мерялось не заслугами перед страной, не талантом, не трудом — чином, должностью, орденом, Пирогов осмелился сказать самую простую мысль: школа должна растить не чиновника, не единицу для замещения некоей должности в государственном аппарате, не юриста, негоцианта, солдата или моряка, а *человека*. Человеческие качества, и прежде всего высокая нравственность, способность к самостоятельному мышлению и чувство собственного достоинства, — вот что должна воспитывать школа.

Образование врача, юриста и т. д. выглядит как образование: врачу очень много надо учиться. Но можно дать специальные знания и вместе с тем заглушить все «притязания на ум и чувство». Сам человек, а не будущая его польза государству — вот что должно быть целью школы; воспитанный таким образом ученик и будет самым полезным членом общества.

Нельзя сказать, чтобы это была совершенно новая мысль в педагогике. Жан-Жак Руссо писал о своем воображаемом Эмиле: «Выйдя из моих рук, он не будет... ни судьей, ни солдатом, ни священником; он будет человеком». Такие же слова можно встретить и у Белинского, и у Одоевского.

Но в педагогике не то, что, скажем, в физике или медицине. Чтобы оценить новизну педагогической идеи, ее нужно сравнивать не с идеями, высказанными когда-то, а с реальной практикой времени. Все великие педагоги говорят, в общем-то, одно и то же, все утверждают одни и те же гуманные истины, ведут — из века в век — одну и ту же борьбу. Но каждый — в свое время, в своих трудных обстоятельствах. Каждый *вновь* обращается к истинам, провозглашенным сто или двести лет назад, *вновь* доказывает их, приводя новые аргументы. И ему приходится так же трудно, как и его предшественникам. Педагогику в этом плане скорее можно сравнить с литературой: во все века поэты пишут о любви, о свободе, о природе, пишут будто бы одно и то же, но каждый раз новое. Пушкин остается Пушкиным, хотя о любви к родине и о любви к женщине до него писали десятки поэтов, и замечательно писали.

Так и в педагогике. Пирогов говорил то же, что и Ломоносов, и Скворода, и Новиков, и Белинский, — собравшись вместе, они не спорили бы между собой, а крепко пожали бы друг другу руки.

Но в 1856 году то, что сказал Пирогов, сказал именно он, имел

талант и смелость сказать это именно он, и он разбудил общественное мнение.

«Вникните и рассудите, отцы и воспитатели! — зывал Пиров. — Все, готовые быть полезными гражданами, должны сначала научиться быть людьми!»

Это было крупное общественное событие. Впервые — после Дружеского Ученого общества Новикова — школьные дела стала обсуждать общественность; двери школы приоткрылись для всех: что же там происходит, за этими дверьми? Долго ли еще будут калечить детей?

Вдруг все поняли: школа не может быть отдана на откуп ни одному из министерств, школа принадлежит обществу, она должна быть на виду. И весь этот шум поднял не педагог, а ученый, «отец русской хирургии».

Министр просвещения Норов предложил Пирову стать попечителем Одесского учебного округа.

Ученый отложил свой скальпель, ушел из академии, оставил дело всей своей жизни, специальность свою, в которой он достиг таких больших высот, и пошел в учителя. Чтобы на опыте установить, как же надо воспитывать в школе человека.

Почему он это сделал? Как решился? Быть может, под влиянием Крымской войны, где он увидел последствия отсталости и неграмотности. Ведь всякая война — это и война учителей и столкновение методов обучения: чем меньше муштры, тем сознательнее действует солдат и офицер. При прочих равных условиях грамотный солдат всегда победит неграмотного, привыкший к самостоятельности — забитого, свободный — угнетенного. Пиров пошел в учителя по той же причине, по которой сотни студентов в это время бросились преподавать в воскресных школах, по которой — мы увидим это позже — Лев Толстой отложил перо и начал учить детей грамоте.

Борьба вокруг отмены крепостного права выливалась в борьбу за освобождение личности, а истоки внутренней свободы человека — в школе, в воспитании.

В свое время Екатерина II попросила французского философа-просветителя Дени Дидро составить «план университета для России». Дидро прислал такой план в 1775 году. В нем, в частности, говорилось: «Невежество есть удел раба и дикаря. Просвещение дает человеку достоинство».

Борьба за просвещение была борьбой за человеческое достоинство. Образование — не только долг, но прежде всего — право.

Пирогов взялся за работу с энтузиазмом, с основательностью, с научной дотошностью. Он постоянно объезжал губернии своего округа и появлялся в гимназиях без предупреждения, без пышных церемоний встреч, иногда никем не узнанный.

В широком пальто-сюртуке, а если на улице грязь, то в больших галошах-кораблях, с засученными панталонами, он так и входил в класс. Его не волновало, все ли пуговицы застегнуты на мундирах гимназистов; он добивался не дисциплины — добрых отношений между учащимися и учащими, ибо человеком с честными убеждениями может быть лишь тот, кто «приучен с первых лет жизни любить искренне правду, стоять за нее горой, быть непринужденно откровенным как с наставниками, так и с сверстниками».

Николаевские времена породили ужасающую раздвоенность человека. Люди с первого класса гимназий приучались казаться не теми, кем они были на самом деле, лицемерить, таиться. Пирогов в своих размышлениях шел не от школы к будущему обществу, а наоборот: от пороков общества — к их проявлению, к порокам школы. Поэтому каждая его статья (а он писал часто) выглядела не просто педагогическим рассуждением, а была критикой нравов общества.

Не удивительно, что спустя два года после назначения он вынужден был уйти. Но он не разочаровался и не вернулся в медицину — поехал в Киев и вновь стал во главе учебного округа. Врач не может оставить больного, даже если сам «больной» не хочет лечиться и оскорбляет врача.

Вновь Пирогов ходит по гимназиям и вновь добивается своего: чтобы и в учителях, и в учениках проснулось человеческое достоинство. Это достоинство нельзя унижать даже ради самой, казалось бы, высокой цели — ради того, чтобы дать ребенку знания. Знания нельзя вбить: человека нельзя вырастить человеком, если он, например, подвергается позору порки, да еще публично. А по школьному уставу сечь детей до третьего класса гимназии позволялось официально.

Еще в Одессе Пирогов написал статью: «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?» — «мелочной и даже, так сказать, неприличный вопрос для публики образованной и занятой

серьезными делами... Но для детей розга — не мелочь, и секут их также и образованные, и занятые серьезными делами люди».

Розга не исправляет, пишет Пирогов, она вселяет страх, вызывает стыд и только прикрывает «внутреннюю порчу». А что значит сечь при других детях? Низменные, порочные чувства вызывает это у детей: они все равно стоят на стороне наказанного, и вся система оказывается неприличной, неблагоразумной и безразличной.

Опять, все с той же основательностью, Пирогов находит сердцевину проблемы. О каком человеческом достоинстве можно говорить, если между учеником и учителем стоит ненавистный солдат с пучком розог!

Розга была не просто орудием наказания — символом принуждения, своеволия грубой силы, стремившейся сломать маленького человека. Для николаевской педагогики слова «воспитать» и «сломать» были синонимы.

Пирогов обратился к директорам своих гимназий: надо запретить розги!

И потерпел поражение. Голоса сложились не в пользу Пирогова. Выдвигали такой аргумент: поскольку детей секут дома, как справиться с ними без розги в школе?

Трудный выбор был перед Пироговым. Он мог бы настоять на своем, но это, по его мнению, означало бы идти против воли учителей, принуждать их, то есть делать как раз то, против чего он боролся. И он отступил. Он утвердил правила, в которых розга разрешалась. Правда, прежде чем наказать ученика, требовалось столько формальностей, что учителю легче было выбрать другое наказание; правда, что практически розги перестали применять. Но авторитет Пирогова был так высок, на него возлагали такие большие надежды, что утвержденные им правила вызвали возмущение. Добролюбов опубликовал статью «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» с эпиграфом: «И ты, Брут!» Да еще написал иронические стихи «Грустная дума гимназиста» — перепев лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...» Они начинались так:

Выхожу задумчиво из класса,
Вкруг меня товарищи бегут...

Ученик, герой стихотворения, провинился: он на уроке говорил о Лютере «очень вольно». Его должны наказать.

Нет, не жду я кары гувернера,
И не жаль мне нынешнего дня...
Не хочу я брани и укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня!..

Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А другим, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов;

Я б хотел, чтоб для меня собрался
Весь педагогический совет,
И о том, чтоб долго препирался,
Сечь меня за Лютера иль нет;

Чтоб потом, табличку наказаний
Показавши молча на стене,
Дали мне понять без толкований,
Что достоин порки я вполне;

Чтоб узнал об этом попечитель,
И, лежа под свежую лозой,
Чтоб я знал, что наш руководитель
В этот миг болит о мне душой...

Пирогову пришлось оправдываться, объяснять, что он тоже не полновластный хозяин в школах, что никто не дал ему права «преобразовывать наши школы...»

Пирогов был демократичен в точном смысле этого слова. Наверно, утверждая Правила с пунктом о розгах, он знал, что подвергнется насмешкам и поношениям. Но он же сам ввел коллегиальное управление гимназии; он сам приказал публиковать свои распоряжения, чтобы вся общественность могла следить за делами школы. Педсоветы были разрешены уставом 1828 года, но они существовали только на бумаге. Пирогов добился, чтобы они действовали, чтобы директор не пользовался властью безгранично.

Странное занятие — через сто с лишним лет оправдывать Пирогова (да и в чем оправдывать?), но надо и понять его: он считал, что любое правило, введенное вопреки коллегиально вынесенному решению, будет вредным. Даже самое хорошее правило, даже такое, в справедливости которого сам Пирогов был убежден. Пирогов временно проиграл сражение, и за то его справедливо осуждали. Перепалка была ожесточенная.

Этот инцидент сам собою был исчерпан, когда в новом уставе 1864 года порка — навсегда! — была запрещена, и случилось это, конечно, потому, что Н. И. Пирогов поднялся против жестоких наказаний.

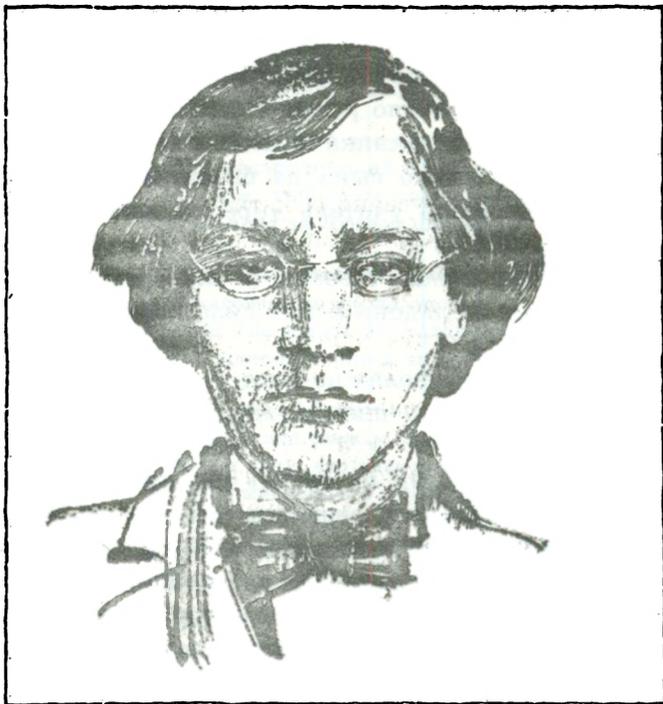
Так закончилась продолжавшаяся сто лет борьба против физических наказаний в русской школе, закончилась благодаря мужеству передовых педагогов. Ведь в немецких школах, например, в то время пощечина или удар линейкой по рукам считались разрешенным приемом воспитания. Мать художника Валентина Серова вспоминает, что она хотела забрать своего сына из баварской народной школы, когда узнала, что школьный учитель «крепко дерется» (дело было в 1872 году).

— Ведь я не бью в запальчивости, у меня строго рассчитано, сколько линейкой бить по ладони и как силен должен быть удар, — объяснил ей учитель.

— Да у нас в России в школах не бьют...

— Берите вашего сына из школы, сделайте милость! — отвечал учитель, негодуя.

«У нас в России в школах не бьют!» Дорого заплатил Пирогов, чтобы появилась возможность произнести такие слова. Ему пришлось уйти в отставку. Он уехал в свое имение в Подольской губернии (село называлось Вишня), потом в четырехлетнюю заграничную командировку (во время которой, в частности, оперировал и вылечил раненного в ногу Гарибальди), опять жил в деревне, писал статьи. Слава его росла. Медики славили врача Пирогова, учителя славили Пирогова-педагога.



Николай Гаврилович Чернышевский
шефский становится в классе,
но был спокоен на эшафоте.

Глава десятая



оле истории усеяно событиями неравномерно. В иные десятилетия хронологическую таблицу можно собирать гармоникой, сжимая пустые годы, но потом эту гармонику лет приходится растягивать до отказа, чтобы уместить описание множества событий, разом случившихся. Так, одни 60-е годы прошлого века дали стране столько замечательных педагогов, сколько не было их за два предыдущих столетия.

И это, конечно, не случайно. Педагогика — чуткий показатель состояния общественного движения в стране. Главные педагогические произведения выдающихся русских учителей середины прошлого века были созданы именно в то время — год в год! — когда в стране шла напряженная борьба за отмену крепостного права, перераставшая в борьбу за демократические свободы, за освобождение личности.

Вот годы расцвета деятельности крупнейших педагогов:

Н. И. Пирогов	— 1856—1860
Н. Г. Чернышевский	— 1856—1862
Л. Н. Толстой	— 1859—1862
К. Д. Ушинский	— 1859—1862

Затем наступила реакция, и этот список продолжить было бы невозможно — его некем пополнить.

Чтобы понять 60-е годы и их вклад в педагогику, познакомимся, вслед за жизнью Пирогова, с другими замечательными людьми из короткого списка (очень неполного: в нем нет Добролюбова, Писарева, Шелгунова).

...Не прошло и десяти лет после смерти Николая I, как новый

шеф жандармов с отчаянием докладывал царю Александру II, что «отдельные личности» распространяют свои мысли о свободе «гораздо далее намерений самого правительства» и что под их влиянием «находится более или менее все юное поколение России». Прежде всего шеф жандармов имел в виду Чернышевского.

Попечитель Виленского учебного округа доносил относительно взглядов одного из гимназических преподавателей по фамилии Вознесенский: в бога он не верит, государство считает порождением людского безумия, а Чернышевского — гением, который будет признан через 500 лет.

Чернышевский — вот человек, который всем — происхождением своим, талантом, деятельностью, нравственным обликом, влиянием на современников и на последующие поколения и, наконец, самой судьбой своей — воплотил особенности 60-х годов России прошлого века. И хотя педагогика в строгом значении слова занимала Чернышевского лишь отчасти, мало кто воздействовал на развитие педагогической мысли в нашей стране в такой степени, как он и его соратники, революционные демократы.

* * *

За тридцать с небольшим лет до появления докладов и доносов на Чернышевского в Саратове, в Сергиевском приходе, неожиданно умер священник, и нужно было назначить нового. Преемнику, по неписаному правилу, предстояло жениться на дочери покойного, чтобы семья его не осталась обездоленной. Вдова и две ее дочери с тревогой ждали, кто будет просить руки молоденькой Евгении, кто войдет в осиротевший дом хозяином.

Церковные власти предложили место учителю пензенской духовной семинарии Гавриле Ивановичу, родом из деревни Черныши — значит, Чернышевскому. Гаврила Иванович приехал познакомиться с девушкой. Она понравилась ему. Гаврила Иванович тоже пришелся всем по сердцу. Это был человек большого ума и великой учености: во времена Александра I его даже звали в Петербург заниматься в комиссиях, выработывавших новые законы. Гаврила Иванович знал несколько языков, математику и историю, писал стихи и преподавал пиитику и риторику. А главное, о нем говорили, что это человек непоколебимого благородства, и он вскоре доказал это. Женившись на

девочке, чтобы получить приход, Гаврила Иванович первым делом занялся образованием своей очень молоденькой жены и ее сестры.

Гаврила Иванович учил сестер французскому, греческому, латинскому языкам и дал им радость читать хорошие книги. Он собрал библиотеку, какой в Саратове не было ни в гимназии, ни в духовной семинарии, ни у кого. Книги стояли в кабинете и в сенях на полках до потолка. Он очень много работал: давал частные уроки, преподавал в уездном духовном училище, в женском пансионе. Жена его вместе с сестрой вела хозяйство, но про нее говорили, что она «жила, не выпуская книг из рук». Пять взрослых было в семье, где рос Николай Чернышевский: мать, ее сестра, их мужья и бабушка, и все много работали, много читали, очень серьезно занимались детьми. «Знание и труд» было девизом этой семьи, и впоследствии Вера Павловна, при первом же ее появлении на страницах романа «Что делать?», скажет: «Будем учиться — знание освободит нас».

Восьми лет отец записал Николая в бурсу, в духовное училище, но пожалел сына и стал учить его дома, сам. К четырнадцати годам Николай — Николенька, как звали его дома, — изучил французский и немецкий, переписывался с отцом на латинском, знал древнегреческий и сам нашел себе учителя персидского языка, торговца-перса, который приходил к Чернышевским, торжественно, к изумлению старших, усаживался с ногами на диван и начинал свой урок, а Николенька взамен давал ему уроки русского. «Н. Г. Чернышевский в десятилетнем возрасте имел столь обширные и разнообразные сведения, что с ним едва могли равняться двадцатилетние», — напишет позже один его дальний родственник.

Когда Николай стал ходить в духовную семинарию, он поражал своих одноклассников. «Слушаешь, бывало, и не можешь понять, откуда человек набрал столько сведений!» — говорил один из них. Товарищи обожали его: он один — на сто учеников его класса — поставлял сочинения, переводы, был безотказным репетитором для всех, кто нуждался в помощи. Он был весь с товарищами, в их заботах и заботах, — и он был далеко впереди, мыслями уходил от них. Так всю жизнь будет с Чернышевским: плоть от плоти сегодняшнего дня и в то же время вечно в будущем. Он был воплощение будущего, очутившегося в настоящем.

Учился прекрасно, а сам втайне мечтал бросить семинарию.

Мечтал уехать в Петербург, поступить в университет, мечтал о настоящем образовании.

Несколько лет спустя один четырнадцатилетний мальчик, будущий друг Чернышевского — Николай Добролюбов, — напишет импровизацию, какую, наверно, и Чернышевский в этом возрасте мог бы написать :

О, как бы желал я такую способность иметь,
Чтоб всю эту библиотеку мог в день прочитать.
О, как бы желал я огромную память иметь,
Чтобы все, что прочту я, всю жизнь не забыть.
О, как бы желал я такое богатство иметь,
Чтобы все эти книги себе мог купить.
О, как бы желал я иметь такой разум большой,
Чтоб все, что написано в них, мог другим передать.
О, как бы желал я, чтоб сам был настолько умен,
Чтоб столько же я сочинений мог сам написать...

Чтобы написать «столько книг», надо было много учиться, и вот после переписки с Петербургом Николенька отправляется «на долгих» в столицу. Маменька не решается отпустить сына одного в пятидневную дорогу — едет с ним.

Николай полон надежд покорить столицу и прославиться в литературе. У него честолюбивые мечты. Все пророчат ему самое великое будущее.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого светила, — с сожалением сказал его матери инспектор семинарии, когда она принимала документы сына.

— Дай бог нам с вами свидеться, — сказал другой из наставников, — приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время посеем.

Отец диакон Протасов добавил :

— Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России.

Маменьку Николая, Евгению Егоровну, смутили такие похвалы сыну. Она сказала :

— Это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери полезен будет.

— Нет, это еще очень мало, — настаивал отец диакон. — Надобно им быть полезным и для всего отечества.

Николай в Петербурге. Он еще не знает, чем же он будет полезен для своего отечества; он просто ходит на лекции и читает книги социалистов. Очень много читает. Еще больше думает. Саратовские детские и школьные впечатления не забыты в далекой столице. Он посылает пакет в свой класс, друзьям семинаристам, а в пакете сто шуточных и дружеских записочек, каждому в отдельности, — он скупает по товарищам. Он пишет длинные письма оставшемуся в Саратове двоюродному брату Саше Пыпину, с которым они вместе росли. Узнав, что Сашеньку хотят отдать на казенное содержание, Чернышевский умоляет отца не делать этого: «Сделайте милость, не советуйте отдавать Сашу: чрез это можно погубить всю его будущность, и карьеру и сердце его». Человек, написавший «Жертва — сапоги всмятку», всю жизнь готов был жертвовать собой и не раз делал это. Николай готов поставить под угрозу свое образование, отказаться от помощи из дому, только бы Сашеньку не отдавали на казенные харчи, потому что брату будет плохо! Николай очень любил свою семью: и отца, и бабушку (с ней он в детстве играл в шашки), и брата, а маму часто носил на руках — подхватит и носит по дому.

Вечером 30 августа 1846 года Николенька пишет брату большое и страстное письмо. Поводом был день ангела Саши Пыпина, и письмо начинается размышлением о его, Сашиной, жизни. Но Николаю 18 лет, и он, сам того не замечая, начинает писать о себе, о своем будущем. Он новичок в учении, в жизни, но он из тех пылких новичков, которые уверены, что перевернут и науку, и действительность. Он будет не таким, как все: он несет с собой новую жизнь, он чувствует ее в себе! Прошлое не лежит грузом на его плечах, ему нечего преодолевать, он полон юношеского чувства превосходства перед прошлым и блистательных надежд на будущее, ибо в будущем есть уже место и ему, Николаю Чернышевскому, а вместе с ним всему новому поколению.

«В самом деле, Саша, — пишет Николай Чернышевский в тот вечер, 30 августа, — посмотри, кто до сих пор из России явился гением в науке? Кончим курс и бросим, а любви к науке для науки, а не для аттестата ни в ком почти нет. Неужели же это должно остаться так? Неужели в самом деле то только уже, что не годно в Европе, должно привозиться нам и то чужими?.. Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем?

...Нет, поклянемся, или к чему клятва? Разве богу нужны слова, а не воля? Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизнью духовной нашей... Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира... И да совершится чрез нас хоть частью это великое событие! И тогда недаром проживем мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у бога, чтобы он судил нам этот жребий. Так? Да, скажи, так!»

Он не знал, что уже в этом письме написал слова, которые потом будут тысячи раз цитировать и вывешивать плакатами на стенах: «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого?» Слово «вожделение» выдает здесь характер юноши; он не знает любви — только страсть, не знает желаний — только вожделение, не хочет знать размеренной жизни — только кипение.

А размеренная эта жизнь подступала, затягивала, брала за горло. В столице устроиться не удалось — он возвращается в Саратов. Высочайшим приказом он назначен старшим учителем словесности Саратовской гимназии и приступает к занятиям после весенних каникул 1851 года. Крушение надежд? Для любого другого человека — да. Лямка учителя и озлобленность неудавшегося гения, светила... Наставники его еще не поседели, а он уже вернулся, и с чем же? Ни с чем...

Таким могло быть мироощущение любого другого человека, но не Чернышевского.

В Саратове два средних учебных заведения: духовная семинария и гимназия. Семинаристы и гимназисты вечно враждуют. Гимназисты — в основном из дворян, семинаристы — дети дьячков, церковных служаков, бурсаки, черная кость, разночинцы. И вот учитель-семинарист в гимназии... Но незачем даже спрашивать, как его приняли, потому что новый учитель словесности, 23-летний Николай Гаврилович Чернышевский, — самый образованный человек в городе, самый умный человек в городе и самый независимый. Губернатор приглашает его на обед — Чернышевский не идет; приходится посылать за ним служащего. Директор гимназии Мейер входит во время урока

проверить, что рассказывает ученикам Чернышевский, — тот невозмутимо меняет тему, так что гимназисты прыскают со смеха, а директор, чувствуя неладное, выбегает из класса. Меньше всего Чернышевский похож на «молодого учителя», робкого новичка; кажется, это самый опытный преподаватель в гимназии. В каком бы положении ни оказывался Чернышевский — учителя, литератора или арестанта, никогда не увидишь периода неопытности: он всегда точно знает, что надо делать и как вести себя достойно. Директор гимназии мстит ему за дерзости, придирается к ученикам Чернышевского на экзаменах, хочет доказать, что у них слабые знания. Чернышевский спокойно и насмешливо отстаивает своих учеников. Скандал за скандалом, коллеги уговаривают Николая Гавриловича:

— Что вам за охота? Директор дурак, дураком и останется. Что вам ученики, что вы из-за них ссоритесь? Родственники, что ли?

— Я дуракам не уступаю, — отвечает Чернышевский. — Если ученик слаб, я ему ставлю дурные отметки; но я не могу согласиться с Мейером поставить дурные отметки ученикам, которые знают и отвечают на экзамене сносно, тем более что вижу в этом явные придирки Мейера к ученикам. Он недоволен мною, а из-за меня страдают ученики. Я не допущу этого.

Тот, кто видел, как он работает, мог бы подумать, что он нашел свое призвание. Ничего подобного! Преподавательская деятельность в гимназии, где директором Мейер, в системе, где министром просвещения император Николай Павлович, кажется ему отвратительной. Никто из больших педагогов не написал таких уничижительных слов о работе учителя: «...Быть преподавателем — занятие скучное и, в сущности, пустое», «Профессия преподавателя — одна из наименее выгодных между карьерами, представляющимися образованному человеку». Для Чернышевского педагог — «такой же чернорабочий, как землекоп или портной». Почему же он так хорошо работает? Почему ссорится? Почему, по словам современника, он совершенно переделал гимназию, заставил и других учителей преподавать интересно? Просто — долг. «Привязанность честного человека к исполнению принятого на себя долга». Честный человек не может быть обманщиком, он должен работать честно, где бы он ни работал!

К тому же Чернышевскому интересно в гимназии. Он не любит само заведение, его директора, но в гимназистах он видит будущих соратников по борьбе. Среди них есть довольно развитые. Учитель де-

лится с ними своими взглядами. Он говорит такие вещи, которые грозили каторгой. Зачем? Что ему эти мальчишки? Но он честный человек... Если придется сесть в крепость только из-за того, что он сказал несколько слов на уроке, что ж, он готов на это точно так же, как потом был готов идти под арест за то, что революционизировал целое поколение. «Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтоб походить на порядочного молодого человека», — пишет он товарищу в Петербург.

Чернышевский был героем в глазах своих учеников, совершенно необычным для провинциального Саратова человеком: не заискивает перед директором, распаляется, когда рассказывает о Французской революции, говорит о вреде крепостного права. «Наш просветитель», — с восторгом называли потом его бывшие ученики. Быть учеником такого учителя опасно: из 19 юношей, поступивших в Казанский университет, 10 были обвинены в вольнодумстве. Быть учеником такого учителя прекрасно: он давал знания, какие и в университете не получишь.

Чернышевский и ошибался, и не ошибался относительно своего учительского призвания. Верно: ему было тесно в гимназии. Но он был рожден учителем и остался им до конца жизни, и когда, отчаянно влюбившись в самую очаровательную девушку в Саратове и женившись на ней, он переехал после свадьбы в Петербург, то и там он стал «идолом молодежи», как это было в гимназии. В нем все было притягательно для юношей и девушек 60-х годов: его идеи, его нравственный облик, его стойкость.

«День его отъезда из Саратова был скорбным для всех гимназистов, которые теснились, окружая его квартиру, и со слезами напутствовали его отбытие», — вспоминает современник.

Петербургская жизнь Чернышевского коротка и прекрасна. Мы не всегда отдаем себе отчет, как молод был этот человек, когда писал свои главные работы. В 26 лет он начинает работу в «Современнике», в 28 — становится фактическим редактором этого журнала, в 30 — приобретает всероссийскую славу, а в 34 — попадает в крепость...

Молодость и прирожденное благородство заставляют его быть предельно честным. Общественные порядки России не подлатаешь: Чернышевский почти открыто зовет к революции, к действию. Не «отменить» крепостное право, а *уничтожить* его революционным

восстанием. Не «дать» народу образование, а *взять* его силой — революцией. Образование и свобода для Чернышевского — синонимы: освободить народ — и дать ему образование, просветить народ — и сделать его свободным. Ему казалось, что стоит только уничтожить крепостное право и его остатки, и «дела пойдут как нельзя лучше» (это Ленин так говорил о Чернышевском), наступит общее благоденствие. Он был большой ученый, один из крупнейших ученых в России того времени, но в его мечте о революции и в его призывах «к действию» чувствуется не только трезвый взгляд мыслителя, а и негодование, которое охватывает всякого честного человека, когда он видит несправедливость. Умственное и сердечное не спорят между собой в его сочинениях — сливаются в одно. «Законы человеческой природы: ум и честность это одно и то же; ум и доброе сердце это одно и то же», — писал он сыну. Чернышевский работал буквально дни и ночи, иногда он спал по два-три часа в сутки; он неделями не выходил из дому, так что приставленные к нему сыщики жаловались: очень трудно наблюдать за человеком, если он никуда не ходит. Он много зарабатывал — по 15—20 тысяч рублей в год. И вот как он себе представлял жизнь после революции: все будут жить так, словно у них годовой доход в 15—20 тысяч! То есть все будут жить не хуже, чем он живет.

Позже Лев Толстой испытает это же мучение: отчего в его доме редиска и свежее масло, а рядом — голодающие крестьяне? Отчего он живет лучше других?

Толстой скажет: значит, и я должен жить хуже, жить как и все.

Чернышевский, исходя из той же посылки, мучаясь той же болью, делает другой вывод: значит, и все должны жить лучше — жить хотя бы как я. Как это сделать? Революцией, восстанием крестьян. А как подготовить такое восстание? Воспитанием тысяч молодых людей, способных действовать, когда придет время действовать, способных думать о благе отечества, «содействовать его вечной славе», и настолько *порядочных*, что всякая общественная несправедливость будет для них нетерпима.

Николай Гаврилович был утопист. Кстати сказать, он много лет — даже и в крепости — размышлял над идеей вечного двигателя. Знал, что создать его невозможно, но размышлял всерьез, потому что очень хотел сделать что-то важное для человечества... И он сделал.

Не так уж много статей Чернышевского можно назвать педагогическими, но кто в его время был первым учителем гимназистов и профессором студентов? Он. Студент педагогического института рассказывает: «Прежде всего, с голоса Чернышевского, мы перестали считать гениальным то, что не имело смысла». Студенты бросили переписывать в тетрадки глупые лекции казенных профессоров — начали бегать в Публичную библиотеку; они поняли, что, кроме официальной, видимой жизни, существует жизнь и деятельность, скрытая от властей и от обывателей, тайная, но прекрасная. И кто придал будущему революционному движению в России краски благородства, безупречной честности, некоторого даже рыцарства? Он, Чернышевский.

Чернышевский не писал учебников для гимназии. Но так ли это? Ни одна учебная книга из тех, что были одобрены министерством просвещения и допущены в гимназии, не штудировалась столь тщательно на протяжении десятилетий, как роман Чернышевского. Не учебник? Азбука гражданской жизни, «Родное слово» всех честных людей России, «первая книга для чтения» всякого порядочного молодого человека...

Он написал эту книгу в Петропавловской крепости, в маленькой темной камере.

Чтобы представить себе Чернышевского как цельную личность, нужно большое воображение. В сознании обычного человека не укладываются все противоречия его характера. Решительный тон в статьях — и почти болезненная стеснительность среди незнакомых людей; мужество в поступках, а в мыслях постоянное самообвинение в трусости; огромное жизнелюбие — и почти аскетический отказ от всех радостей жизни. Жена его, Ольга Сократовна, вечерами в разгар танцев выбегала из дому, чтобы полюбоваться на залитые светом окна своей квартиры, и говорила прохожим: «Это веселятся у Чернышевских», — она была непосредственная женщина. Она радовалась жизни, ей хотелось похвастаться своею жизнью даже и перед чужими людьми — простительный грех очень искреннего человека. В доме Николая Гавриловича веселились, танцевали, пели, пили, а сам он в это время работал, работал, лишь изредка выходя к гостям со смущенной улыбкой, на минутку... Он не совершал подвига самоотречения: он жил так, как, по его мнению, должны жить «обыкновенные честные мужчины».

Настал день, когда палач переломил над его головой заранее надпиленную шпагу.

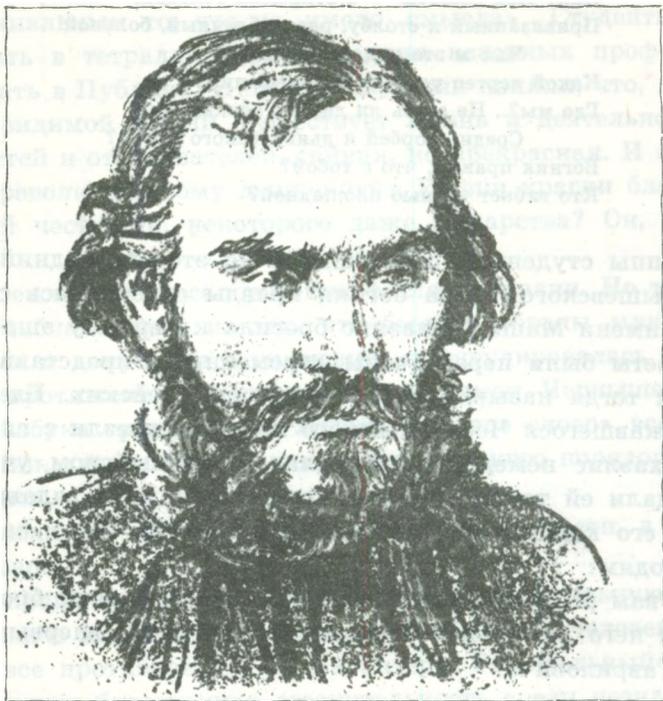
Потрясенный этой сценой, литератор В. Щиглев писал:

Как? Под дождем — с открытой головой,
Привязанный к столбу, расслабленный, больной!
Чья ж это подлая потеха?
Какой вертеп устроил гнусный пир?
Где мы?.. Не здесь ли дантов адский мир
Среди скорбей и дьявольского смеха?
Богиня правды, что с тобой?
Кто гибнет казнью площадной?

Из группы студентов, собравшихся на этот последний урок учителя Чернышевского, когда богиня правды отвернулась от него, девушка по имени Маша Михаэлис бросила к черному эшафоту букет цветов. Цветы были перехвачены «временными представителями народа», как тогда называли переодетых полицейских. Бледного, спокойно державшегося Чернышевского поскорее увезли с глаз долой, а Машу Михаэлис немедленно арестовали. В полицейском участке жандармы задали ей тот же вопрос, который когда-то задавали Чернышевскому его коллеги по гимназии и который часто задают порядочным людям:

— Он вам родственник? Нет? Зачем же вы цветы бросали?

— Я в него влюблена! — отвечала девушка, впервые видевшая Николая Гавриловича.



Лев Николаевич Толстой
лучшим временем своей жизни
называл годы, когда он любил и
улыбался детям.

Глава одиннадцатая



амые дерзкие вопросы — те, на которые, казалось бы, легче всего ответить, на которые есть готовые ответы.

Пирогов только камушек тронул, только задал вопрос: «Для чего мы учим детей?» Как — «для чего учим детей»? Разве не понятно? Не общеизвестно? Оказалось, нет, не понятно. Только камушек тронул Пирогов, и лавина пошла, разрастаясь и все сметая на пути.

Чернышевский описывал «дурные школы»: в них ничему не учивают, в них только бьют, терзают детей, притупляют их. Добролюбов вслед за ним высмеивал «рыцарей трех пощечин» — педагогов, умевших заставить детей учиться, но неспособных приохотить к учению. Писарев язвительно спрашивал: «Что это вы, у госпожи Простаковой, урожденной Скотининой, что ли, заимствовали педагогическую философию?» Но госпожа Простакова — гениальная мыслительница, «если сравнить ее идеи о воспитании с тем жалким набором перепутанных и непонятных полуправил и полуфраз», составлявших кодекс общепринятой к 60-м годам педагогики.

Мощными ударами революционной, демократической журналистики в каких-нибудь 3—4 года были разбиты и осмеяны «педагогические» идеи, насаждавшиеся Николаем I тридцать лет подряд.

Но кто-то должен был дойти в своей критике до самого конца, кто-то, с взглядами абсолютно непредвзятыми и предельно смелыми. Тут требовалась не столько смелость поступков, сколько смелость мышления.

Ведь критическая статья — далеко не единственное оружие критики и даже подчас не самое сильное оружие.

Новый пример, новый опыт — вот что до конца разрушает общепринятые взгляды.

Все, кто держится за старое в педагогике, никогда, конечно, не объявляют себя во всеуслышание ретроgrадами. Боже упаси! Они лишь выступают в защиту детей от опасных новшеств, которые должны якобы погубить ребенка. О чем печется гимназический директор, отстаивая розги? Конечно же, об интересах ребенка, только о них! Под предлогом «защиты детей» был смещен не один замечательный педагог.

Ведь детей «защищали» даже и от Песталоцци!

Нужно было показать, что новая педагогика, которая стучится в дверь века, не только не опасна детям — она благотворна для них. «Если уничтожить строгую дисциплину — и школа разрушится, дети останутся без знаний!» — пугали со всех сторон. Как доказать, что казарменная дисциплина вовсе не обязательно должна сопутствовать учению?

Кто это делает?

Кто решится поставить такой дерзкий опыт — опыт на детях?

И вот в эти же самые 60-е годы в России возникает школа — сначала только одна! — до того не похожая на все остальные, до того противоречащая принятым в педагогике правилам, что даже передовые учителя были смущены: а можно ли так учить? (Лишь Чернышевского, конечно, ничего не испугало: он бурно приветствовал эту новую школу.)

Судите сами. Во все училища дети идут как на каторгу — в эту сами сбегаются с раннего утра, намаслив для красоты волосы козьим или деревянным маслом, у кого какое есть, а то и просто квасом намочив голову, — сбегаются задолго до того, как ударит колокол, начинавший первый урок. Во все школы ребята идут, томясь от страха: «Вдруг вызовут? Вдруг забыл вызубренное накануне?» В этой уроков на дом не задают и вообще не вызывают к доске; ученики и не знают, что такое страх перед учителем. Во всех училищах и гимназиях ученики встречают учителя стоя навтыжку — здесь бывает, учитель, войдя в класс, может застать огромную кучу малу, и не сразу, постепенно распадается она, не сразу приходят в себя расшалившиеся... Но вот они начинают слушать учителя, обступают его тесной толпой, прижимаясь друг к другу и к учителю, заглядывают ему прямо в рот и затаили дыхание от любопытства и интереса. А если ученики выполняют задание и кто-то отличится, учитель от радости, от избытка чувств может подхватить отличивше-

гося под мышки и посадить на шкаф, к потолку. На переменке 32-летний учитель, «дюжой, гладкий и некрасивый», катается с ребятами на коньках, вертится на турнике, дает мальчишкам пощупать, какие у него мускулы, или устраивает соревнование: «Бейте меня по спине кулаками. Кто сильнее ударит?» Ребятам он зовет шутливыми кличками: «Васька-карапуз», «Мурзик», «Обожженное Ушко». Ребята смеются:

— А вас как дразнили в детстве?

— Меня? Левка-пузырь...

На уроке тоже полное равноправие. Учитель просит ребят написать рассказ по пословице, а они отвечают ему: «А ты сам попробуй напиши», и учитель садится писать, показывает сочиненное детям, а те недовольны его произведением, поправляют его, сочиняют заново...

Больше того: в этой школе примерно раз в неделю ученики вдруг — задолго до конца уроков — хватают шапки и разбегаются по домам. Учитель кричит им вдогонку: «Куда вы? Еще уроки...» — но его не слушают. Так, кто-то что-то сказал, какое-то поветрие прошло: *неохота* сегодня учиться, и класс разбежался. А учитель не сердится. Он считает это нормальным и чуть ли не обязательным: чтобы дети могли раз в неделю вот так сбежать с уроков, а потом прийти как ни в чем не бывало. Это значит, говорит учитель, детям в школе хорошо...

Учитель этот считает, что дети — те же взрослые, и такие же у них потребности, и так же они мыслят, и все они сами хотят учиться — нечего их заставлять, ибо принуждением взрослые не поддерживают учение, а губят его.

Пожалуй, такую странную школу не смог бы создать человек, который получил формальное педагогическое образование или хотя бы сам в детстве посещал какую-нибудь школу. Воспоминания детства цепко держат взрослого человека. Но Лев Николаевич Толстой — а это он был создателем и учителем почти фантастической школы в Ясной Поляне — сам ни в какой школе не учился. Он, правда, перечитал много педагогических сочинений, он объездил лучшие учебные заведения Европы и всюду увидел одно: невежество, вольную или невольную жестокость учителей по отношению к детям, «глупость и вялость и дисциплину механического учения и тусклые, без света глаза учеников...»

Он не был революционером в политических своих взглядах, но слово, сказанное им в педагогике, было переворотом.

Почти все большие русские писатели в какое-то время своей жизни беспокоились о народном образовании, многие открывали школы, работали учителями, учили своих и чужих детей.

Державин открыл шесть народных училищ в Тамбове, завел школу в своем доме, сам выписывал из Москвы карандаши и грифели, сам экзаменовал учеников.

Крылов учил детей князя Голицына, а в конце жизни — детей своей крестной дочери.

Жуковский был придворным педагогом, учил будущего царя Александра II, учил своих детей, составлял учебники, карты, хронологические таблицы и называл обучение своей дочери «педагогической поэмой».

Гоголь преподавал историю и географию, давал частные уроки.

Тургенев составил проект «Общества для распространения грамотности и первоначального образования», учредил школу в селе Спасском, следил за ней и за успехами ее учеников.

Гончаров был домашним учителем в семье художника Майкова.

Некрасов открыл на свои средства бесплатное «училище для обучения крестьянских детей грамоте».

Для одних преподавание было радостью, отдыхом, для других — житейской необходимостью; для Льва Николаевича Толстого оно было жизнью, главным делом жизни. По крайней мере, в течение трех лет, с 1859 по 1862 год, когда он ничем другим не занимался — только устройством школ в Ясной Поляне и в округе, и еще десять лет спустя, когда он составлял свою «Азбуку» и писал в эту книгу рассказы для детей. За семь лет перед смертью Толстого биограф Бирюков спросил его: какое самое сильное увлечение испытал он в своей жизни?

Толстой все видал. Он знал войну, любовь, славу, богатство. Он перепробовал десятки занятий: писал романы и пахал землю, сочинял трактаты и шил сапоги, участвовал в переписи населения и служил офицером...

Но на вопрос Бирюкова он отвечал:

— Самый светлый период моей жизни дала мне... любовь к людям, детям. Это было чудное время...

Школа для него была радостью, «поэтическим, прелестным делом, от которого нельзя оторваться».

Школа для него была связана с общим его поиском в жизни: «Я много думал и думаю об этом. А дело не то, что первой важности, а самое важное в мире, потому что все, чего мы желаем, может осуществиться только в следующих поколениях».

И наконец, школа была для него источником постоянных исканий: Толстой ничего не умел делать легко. «Выступая на новое для меня поприще, — писал он на первой странице своего педагогического журнала «Ясная Поляна», — мне становится страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные».

Какие же мысли он «считал за истинные»? Почему его школа была организована так странно и в то же время давала такие прекрасные результаты? Никакой, казалось бы, дисциплины, а дети в три месяца выучиваются бойко читать, и за все время ни одного серьезного случая нарушения порядка, и вообще, по свидетельству одного из инспекторов, в Ясной Поляне учились «усердно, как нигде».

Невидимая черта отделяет в классе учительскую кафедру от ученических столов. Во времена Толстого почти все педагоги смотрели на класс с кафедры, искали способы, с помощью которых учительку удобнее учить. Толстой впервые взглянул на класс с другой стороны — с парты. Он искал способы преподавать так, чтобы ученику было удобно учиться.

Фактически он открыл существование целого мира — мира богатой внутренней жизни детей. Сначала — в «Детстве» и «Отрочестве», потом — в педагогической своей практике. Во времена Толстого этот мир был почти не известен педагогам или не учитывался ими. Толстому не приходилось выпытывать детские секреты: он мог сам нагнуться к уху мальчика и рассказать ему все его мальчишечьи тайны — он знал и понимал их.

Главным мерилom хорошего или дурного обучения он считал одно: возбуждение интереса детей к учению. Интересно детям учиться, светятся их глаза — хорошая школа; скучно им, тягостно, «тусклые, без света глаза» — школа дурная. «Хочешь наукой воспитать ученика, — обращался Толстой к учителю, — люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и твою науку, и ты воспитаешь их».

Толстой не придумал свою педагогику — он буквально выстрадал ее, мучаясь и ошибаясь.

Несколько раз он публично признавался, что прежде был в чем-то неправ.

Чтобы понять Толстого в школе, почувствовать ход его размышлений, достаточно прочитать страничку из журнала «Ясная Поляна», издававшегося Толстым в течение 1862 года. Вот какая история произошла однажды в школе. Ученик украл книжку, его поймали с личным, ребята решили навесить на него бумажный ярлык со словом «вор» — для позора. Но, пишет Толстой, «мне так вдруг стало известно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык, велел ему идти куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а всем существом убедился, что я не имею права мучить этого несчастного ребенка... Я убедился, что есть тайны души, закрытые от нас, на которые может действовать жизнь, а не нравоучения и наказания. И что за дичь? Мальчик украл книгу, — целым длинным, многосложным путем чувств, мыслей, ошибочных умозаключений приведен был к тому, что взял чужую книжку и зачем-то запер ее в свой сундук, — а я налеплю ему бумажку со словом «вор», которое значит совсем другое! Зачем? Наказать его стыдом, — скажут мне. Наказать его стыдом? Зачем? Что такое стыд? И разве известно, что стыд уничтожает наклонность к воровству? Может быть, он поощряет ее. То, что выразилось на его лице, может быть, было не стыд? Даже наверно я знаю, что это был не стыд, а что-то совсем другое, что, может быть, спало бы всегда в его душе и что не нужно было вызывать».

Так было во всем. Каждый поступок ученика рождал не быструю и привычную реакцию, а поиск, сомнение, размышление, опыт.

Учитель должен постоянно меняться, постоянно учиться в своей же школе, тогда он не будет механическим учителем.

И вот что важно заметить: Толстой работал в школе и написал свои главные статьи до того, как сложились его теории о непротивлении злу насилем, до того, как появилось то, что мы называем «толстовством». Его школа — не блажь, не чудачество, а серьезный научный поиск, важное открытие в педагогике. Известно выражение: «Ничто человеческое мне не чуждо...» Толстой в одной из своих педагогических статей говорит по-другому: «Не бойтесь, человеку ничто человеческое не вредно». Доверьтесь ученикам, положитесь на

них; они наделают ошибок, но человеку ничто человеческое не вредно, и их ошибки принесут меньше беды, чем нудное, ханжеское наставление учителя-надзирателя.

Толстой «спустил детей с лавки», — на его уроках, бывало, кто лежал на животе, подперев голову руками, кто разваливался в кресле (было в классе одно кресло); он показывал буквы на доске не указкой — хворостинкой, но вовсе не эта свобода была его целью, не педагогические фокусы демонстрировал он; целью оставалось главное — учение. Свобода же учеников была показателем качества обучения. Чем лучше учитель знает свой предмет, чем больше он любит его, тем естественнее и свободнее его преподавание и тем меньше нужны ему строгость и принуждение.

«Превосходно, превосходно, — писал Чернышевский о Яснополянской школе, — дай бог, чтобы в большем числе школ заводился такой добрый и полезный «беспорядок»...»

Когда-то считали, что без розги научить грамоте невозможно. Крестьяне сначала с неохотой отдавали детей в школу Толстого: там не бьют — значит, пустая трата времени, ничему и не научат.

Сейчас такое рассуждение кажется смешным, но все уверены, будто нельзя выучить детей, если не быть к ним строгими, не держать их под страхом плохой отметки, и т. д. Может быть, через какое-то время эти страхи покажутся такими же нелепыми, как и страхи насчет учения без розги? Всякое принуждение указывает на недостатки метода преподавания. «Чем с меньшим принуждением учатся дети, тем метод лучше; чем с большим, тем хуже», — писал Толстой. Сам он прекрасно учил и потому обходился без принуждения детей учиться. Его школу можно назвать «свободной школой». Свободная школа не та, где свобода от учения, а где великолепно учат, и потому ученики чувствуют себя свободными.

Первое слово о «свободной школе» принадлежит Толстому. Потом эта идея будет подхвачена десятками педагогов на Западе, разработана, превращена в тома ученых-профессоров, извращена до неузнаваемости и вернется в Россию как идея западная.

Но можно только гордиться, что первая свободная школа была открыта именно в России, что русская педагогика на полвека опередила педагогику всего мира. Ведь школы, подобной Яснополянской, не было в те времена ни в Европе, ни в Америке, нигде...

Толстой понимал это. Свои очерки о школе он назвал: «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», как прежде называл очерки о войне: «Севастополь в декабре 1854 года»... Ясная Поляна для него тот же Севастополь, школа — Малахов курган, и судьба России, ее будущее, решаются здесь, как раньше в войне. «Самое важное дело в мире»...

И первое столкновение Льва Толстого с царским правительством произошло именно из-за его школы и педагогического журнала.

Министр внутренних дел направил письмо министру народного просвещения: обратите внимание на педагогические статьи Толстого! В них нет ничего против правительства; автора нельзя заподозрить в злом умысле, но... дух! Дух в журнале какой-то вредный. «Зло заключается именно в ложности и, так сказать, в эксцентричности этих убеждений, которые, будучи изложены с особенным красноречием, могут увлечь на этот путь неопытных педагогов и сообщить неправильное направление делу народного образования».

Озабоченность министра нетрудно понять. Свободная школа в не-свободном государстве? Если ученики не приучатся бояться учителя, будут ли они потом вытягиваться перед начальством?

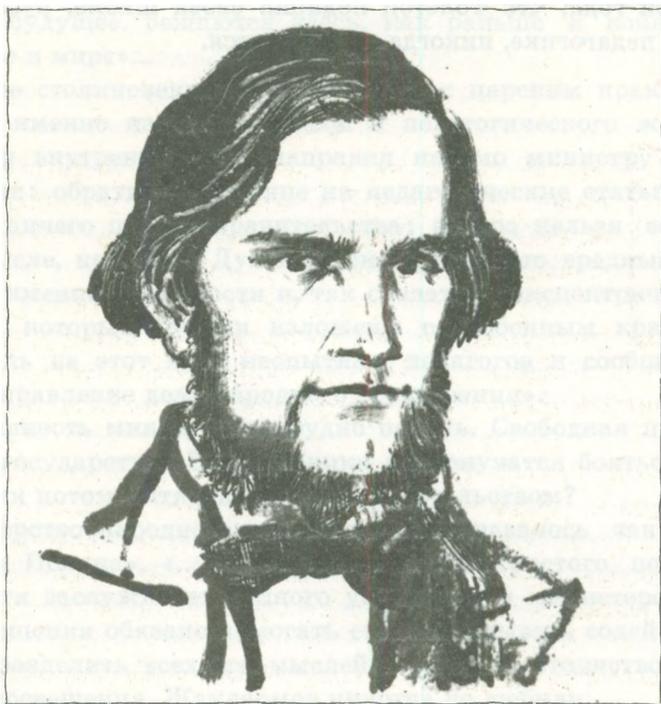
Министерство народного просвещения отказалось закрыть журнал «Ясная Поляна». «...Деятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полного уважения, и министерство народного просвещения обязано помогать ему и оказывать содействие, хотя не может разделить всех его мыслей...» — с достоинством ответил министр просвещения. Жандармов никогда не любили.

Но жандармы лицемерили, посылая письмо. Еще за три месяца до того они фактически погубили Яснополянскую школу: в усадьбе Толстого и в школе был устроен обыск; школу перевернули вверх дном, сетями пытались выловить «печатный станок», будто бы спрятанный в яснополянском пруду, но только караси да раки попались в сети — никакого «станка» и в помине не было. «Я часто говорю себе, — писал Толстой тетке, — какое огромное счастье, что меня не было дома. Ежели бы я был, то теперь наверное бы судился, как убийца...»

Крестьяне и раньше с некоторым подозрением относились к Толстому («Граб» устраивает школу, чтобы выслужиться перед царем»). Теперь пошли слухи — «фальшивомонетчик», деньги на станке печатал...

Толстой охладел к школе. Тут еще женитьба, замысел «Войны и мира»; он кое-как довел журнал «Ясная Поляна» до конца 1862 года, а в школу перестал ходить. «Школа стала *вялая*», — написал потом один его ученик.

Но эти три года, что Толстой подарил своей школе, русской школе, мировой педагогике, никогда не забудутся.



Константин Дмитриевич
Ушинский —
Учитель русских учителей.

Глава двенадцатая



и прогов своим на редкость своевременным и очень страстным выступлением разбудил общественное мнение: народное образование стало общей мечтой и общим интересом.

Чернышевский, Добролюбов, Писарев и другие революционно настроенные публицисты-демократы установили в общественном сознании связь между образованием и свободой. Они положили идейное основание русской школы того времени.

Лев Толстой показал пример свободного поиска лучшей школы.

Старая школа была раскритикована, учить по-старому больше было нельзя. Время требовало появления педагога, который бы создал новую теорию обучения и воспитания детей — именно теорию, полную, основательную, хорошо приспособленную к нуждам практики.

Таким педагогом стал Константин Дмитриевич Ушинский, «учитель русских учителей».

* * *

Французский философ Клод Гельвеций писал, что человек получает воспитание двоякого рода :

воспитание детства — оно дается наставниками ;

воспитание юности — оно дается существующей формой правления и нравами нации.

«Воспитание детства», полученное Ушинским, содействовало укреплению нравственного здоровья мальчика. Он рос на маленьком хуторе с мамой, а потом, когда она умерла, — с доброй и ласковой мачехой; он каждый день по четыре версты неторопливо один ходил

в гимназию глухого Новгород-Северского, куда, кажется, система царя-министра просто не дошла, не доползла. Это было странноватое заведение с чудачком-директором, в свое время известным ученым, появлявшимся в гимназии раза два в году, но умевшим за эти два посещения вызвать у гимназистов благоговение перед наукой вообще, и перед университетом в частности. Ушинский учился нестарательно, больше предаваясь мечтаниям или незлобным шалостям гимназических компаний. Но потом, как это часто бывает, словно проснулся, стал много заниматься и сумел поступить в Московский университет.

Таково было его «воспитание детства».

А «воспитание юности»?

«Формы правления и нравы нации» вызывали один вопрос: что делать для изменения этих самых «форм правления» и для улучшения «нравов нации»? Вопрос, стоявший и перед Чернышевским, и перед Толстым, и перед каждым думающим молодым человеком, который начинал жизнь в середине 40-х годов. Ушинский был на четыре года старше Толстого и Чернышевского: он родился в 1824 году.

Двадцатилетний Ушинский пишет в дневнике о том же, о чем позже будет писать брату Чернышевский: о направлении своей жизни. Так же как у Чернышевского, ни слова о карьере, о личном успехе. Не «я и моя судьба», а «Россия и наша судьба» — тема этих размышлений. Итак, ноябрь 1844 года.

«Приготовлять умы! рассеивать идеи!.. Вот наше назначение. Мы живем не в те годы, чтобы могли действовать сами. Отбросим эгоизм, будем действовать для потомства! Как отцы, отдадим себя трудам и страданиям, бесплодным для нас, плодовитым для детей наших. Соберем неиссякаемые сокровища, которые пусть расточат наследники наши. Рано еще действовать! Пробудим требования, укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим энергию, — дела появятся сами...»

Глубоко образованный историк, юрист и философ, Ушинский понимал, что освободить страну может только движение народных масс; а пока такого движения нет — запись сделана за двадцать лет до крестьянских бунтов 60-х годов, — приходится отказываться от упоения борьбы. Остается одно — действовать для потомства, пробуждать, «шевелить» энергию.

Но на каком поприще «действовать для потомства»? О педагогике он и не думает. Может быть, история — цель его жизни? Но «уга-

дал ли я свое направление? В нем ли я найду успокоение? Не лень ли только гонит меня от поприща фактической деятельности? Не был ли бы я для нее способнее? Не сделал ли бы я для России больше здесь, нежели написав историю?..»

Объединяя себя и свою страну в одно, он деловито прикидывает: как лучше использовать вновь появляющиеся на арене способности, как выгоднее России распорядиться его, Ушинского, талантом.

А талант у него есть, он это чувствует. Не только литературный — талант характера. Как будто за годы беспечного, легкого детства накопились силы, и теперь эти силы, эта энергия рвутся наружу! Действовать! Действовать! Ни минуты даром! Вставать в пять утра, в четыре утра! Читать «для ума!» «Думать о чем-нибудь дельном!»

Он предписывает себе следующие правила:

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере внешнее.
2. Прямота в словах и поступках.
3. Обдуманность действия.
4. Решительность.
5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
6. Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что случится.
7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать.
8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках.
9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет.
10. Никому не показывать этого журнала.

Среди этих правил есть для него легкие, например правило второе: со школьных лет и до конца жизни Ушинский отличался абсолютной прямоотой, и оттого всю жизнь у него было столько врагов. Но есть правила и трудные. Он то и дело отмечает в дневнике: «Ошибка против 5-го правила», «Тщеславие разгулялось, и нарушил два правила: 1-е и 9-е», «Изменил первому и самому главному правилу — спокойствию. Частью от забывчивости, частью и нет!.. Врал!..»

Как «врал» и кому «врал», неизвестно, но зато видно, что себе этот молодой человек не лгал, к себе был беспощаден.

Два года спустя после блестящего окончания юридического факультета Ушинский получает прекрасную должность. 22-летний кандидат наук назначается исполнять обязанности профессора в Демидовском лицее в Ярославле. Лицеи по значению своему шли сразу за университетами; их было несколько:

Царскосельский — под Петербургом, в нем учился Пушкин;

Нежинский — на Украине, в нем учился Гоголь;

Ришельевский — в Одессе;

Демидовский — в Ярославле.

Демидовским он назывался по имени своего основателя, одного из заводчиков Демидовых.

Ушинский едет в Ярославль, с жаром приступает к лекциям. Он (вспомним Чернышевского!) самый молодой из преподавателей, у него нет никаких прав, но он энергичен, смел, он испытывает жажду преобразования и упорядочения. Он произносит речь, в которой критикует состав и состояние преподававшихся в лицее наук, добивается перераспределения учебных дисциплин по курсам, расширения библиотеки.

И каждое выступление — это стычки, резкие слова, нетерпимость молодого профессора и недовольство потревоженного директора. В результате, поступив в лицей в 1846 году, уже в 1849 Ушинский вынужден взять отпуск в Москву и Петербург «для совещания с тамошними медиками о его болезни», потом второй отпуск, третий... А на его месте уже новый человек.

Машина сработала четко и бесшумно. Мясорубка должна была в год-два превратить молодого кандидата в послушного чиновника от просвещения; но, оказалось, косточка не мелется, и Ушинский был выброшен вон.

Он не успел опомниться, как остался без места, без средств к существованию, без поприща деятельности — выплеснутым. А так легко было удержаться! Быть чуть-чуть послушнее.

Ушинский в отчаянии, но не жалеет о случившемся, не обвиняет себя — он был прав. Но что же дальше?

«Сделать как можно более пользы моему отечеству, — пишет он в дневнике, — вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности. Небольшой толчок судьбы разбил все мои предположения, весь тот мир, который так долго во мне строился. И если я не вооружусь твердою волею, то погибну по-

среди этих обломков, сделаюсь пустым человеком, тем более жалким, что воспоминания никогда меня не оставят... О, зачем я один? Мой разум и мое сердце просят товарища. Тяжело бороться одному против усыпления, заливающего со всех сторон!..»

Ушинскому 25 лет.

Из первого столкновения с жизнью он вышел побежденным. Но кое-что он унес из схватки, кое-что вытащил из огня, чуть не опалившего его насмерть. Он нашел свое призвание! Преподавание, общение со студентами увлекли его. Теперь он знает: его поприще — педагогика. Непаханое поле, огромный простор для деятельности...

Он посылает прошения в тридцать (тридцать!) уездных училищ, ищет места. От Шуи до Симферополя — готов учительствовать где угодно. Только учительствовать! Но места нет. Кандидата, профессора, блестящего выпускника Московского университета не берут даже в уездное училище! Может быть, пугает именно его послужной список? Профессор Демидовского лицея просится в училище на жалкий оклад... Что-то не так.

Делать нечего — Ушинский решает переждать какое-то время. Устраивается чиновником в захудалый департамент на 400 рублей в год (в лицее он получал в два раза больше). Зато он может почти и не являться на службу.

Он не служит — перебивается. Ждет. Бедствует. Борется с «усыплением»...

А тут семья появилась.

Ушинский подрабатывает переводами, обзорами зарубежной печати в «Современнике», потом в «Библиотеке для чтения» — незаметный человек, литературный поденщик, ночами сидящий над переводами ради жалких копеек... Его литературный талант не может проявиться, потому что он не нашел еще свою тему: он не знает, что рожден именно для педагогической публицистики, что в этой области ему не будет равных.

И так не год, не два — пять лет почти полного безделья в том возрасте, когда так хочется действовать!

Сколько бы это еще продолжалось?

Но вдруг, встретив своего бывшего начальника по Демидовскому лицее, Ушинский получает приглашение на педагогическую работу в Гатчинский сиротский институт. 1855 год... Первые новые веянья. Непримируемость к рутине теперь начинает выглядеть не пороком, а

достоинством. И вскоре преподаватель словесности в Гатчинском сиротском институте становится инспектором этого института — заведующим учебной частью, завучем, как сказали бы сегодня.

Но очень вероятно, что мы и не услышали бы имени Ушинского, если бы не одно обстоятельство, которое неминуемо должно произойти в жизни каждого педагога.

Вот что случилось с Ушинским.

Когда-то, за много лет до него, инспектором Гатчинского института был выдающийся педагог, ученик Песталоцци, Е. Гугель. Его считали чудачком-мечтателем. У него были странные, как всем казалось, идеи, но он все же проводил их в жизнь, пока позволяли обстоятельства. Потом обстоятельства изменились, система подавила Гугеля — он окончил жизнь в сумасшедшем доме. Но в институте осталось после него два больших книжных шкафа, в которых что-то было, а что — этого не знал никто, ибо шкафы двадцать лет стояли запечатанные. К ним, говорят, даже и не прикасались, вроде как к зачумленным. Что может остаться от сумасшедшего? Почерневшие, запыленные шкафы не привлекали внимания.

Ушинский попросил открыть их.

Перед ним было сокровище. Полное собрание педагогических книг, наследство славного Гугеля Ушинскому, которого он не знал, но на приход которого, видимо, надеялся.

«Это было первый раз, что я видел собрание педагогических книг в русском учебном заведении, — писал Ушинский. — Этими двумя шкафами я обязан в жизни очень, очень многим, и — боже мой! — от скольких бы грубых ошибок был избавлен я, если бы познакомился с этими двумя шкафами, прежде чем вступил на педагогическое поприще!»

Вот что должно быть в жизни каждого учителя: два шкафа педагогической литературы. Если они умно подобраны, то и нынче, сто с лишним лет спустя, двух шкафов вполне достаточно. Когда они должны появиться? В студенческие годы? Или, может, для Ушинского было счастьем, что он открыл их поздно и прежде успел «наделать ошибок»?

Но когда эти Гугелевы шкафы с книгами были прочитаны, Ушинский имел все необходимое для педагога-профессионала, и прежде всего три основных качества: нравственную силу, воспитанную в детстве, идейное основание жизни, выработанное в юности, и теоре-

тические знания, добытые сознательным штудированием педагогических книг.

Едва дочитав Гугелевы шкафы, Ушинский пишет горячую, быть может, лучшую свою статью — «О пользе педагогической литературы». Это одно из самых страстных произведений русской публицистики XIX века: человек открыл для себя новую веру и, потрясенный, спешит сообщить об открытии всем-всем. Новая вера — вера в педагогику. Не всякий взявший в одну руку учебник, а в другую — линейку, чтобы щелкать по рукам, — не всякий есть учитель, — пишет Ушинский. Педагогика — это наука, искусство, она требует глубоких специальных знаний, особого таланта. Педагогика — прекрасная наука, собрание замечательно тонких мыслей, — нельзя полагаться только на свой собственный опыт, надо учиться учить!

Статья имела большой успех: искренность и страстность молодого педагога могла тронуть даже зачерствевшие сердца.

Ушинский воодушевлен. Он чувствует свои возможности, у него развязаны руки, ему есть где печататься и что сказать. (После «Вопросов жизни» Пирогова появилось сразу несколько педагогических журналов: школа и воспитание стали интересоваться всех.) Он пишет много, одно время даже редактирует «Журнал министерства народного просвещения». Было не время для монографий. Статья, написанная в две-три ночи, в порыве, в возбуждении, полная восклицаний, риторических вопросов, едкого сарказма, одушевленная горячей любовью к школе и ее будущему, — вот Ушинский тех лет.

О чем его статьи? Какая педагогика в них?

Можно сказать, педагогика действия, теория воспитания энергичного и трудолюбивого человека. Ушинский подмечает простой закон-парадокс: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его *не для счастья*, а готовить к труду жизни». Только трудом и может быть счастлив человек.

Вновь могут возразить: но это говорили и до Ушинского («Всякий праздный человек — плут»; Руссо). И вновь на это можно повторить: педагогика развивается не так, как летит стрела, и не так, как строят дом. Во все времена бывают хорошие школы и дурные, бывают педагоги прогрессивные и педагоги-мракобесы, педагоги-воспитатели и педагоги-надзиратели; каждого педагога надо расценивать по тому, к какому лагерю он приписался: то ли это лагерь педагогики для детей, то ли лагерь педагогики, направленной против детей.

Ушинский выражал идеи, важные именно для 60-х годов. Школа, еще недавно выросшая из пеленок екатерининских времен, пережила в первой половине века детство: ее баловали, как балуют малышей, в начале александровского времени; ее пороли, как подростка, в эпоху николаевщины, но все же это было детство, довольно-таки мечтательное, как и положено детству. Латынь и древние авторы были еще не пугалом: школа действительно давала неплохое гуманитарное образование, какое получил, например, Пушкин или, еще лучше сказать, его Евгений Онегин. Ирония иронией, но не так-то это просто — «потолковать о Ювенале, в конце письма поставить *«vale»*. Пушкин и люди его круга читали латинских авторов «без греха», были очень образованными людьми. Но это образование абсолютно отрывалось от действительности, оно настраивало человека на возвышенный, мечтательный лад; пожалуй, оно и декабристам помешало быть до конца решительными на Сенатской площади; оно породило массу «лишних» людей, мечтателей, совершенно не умеющих приложить свои знания к делу, да и не было возможности дела, как мы видели: исполнение параграфов и предписаний — это не дело, не жизнь. Блестяще образованный человек, с мрачным видом стоящий на балу у колонны, скрестив руки на груди, Чаадаев, при первой же попытке сказать что-то откровенное официально объявленный сумасшедшим, — вот, пожалуй, символ того воспитания, которое давала школа где-то в первой трети XIX века. Это было мечтательное детство школы. Теперь, в 60-е годы, образовались другие обстоятельства. Время стоять у колонны со скрещенными руками прошло, вновь наступало время просветителей, а вслед за просветителями всегда шли революционеры.

В 60-е годы открылись возможности действовать, причем действовать в разных направлениях. С одной стороны, с 60-х годов бурно расцвело капиталистическое предпринимательство: стали создавать акционерные общества, строить заводы и железные дороги. Подрядчики, биржевики, акционеры, банкиры, заводчики, купцы и купчишки, маклеры, бойкие журналисты разных толков, богатые адвокаты — вся эта масса новых для России фигур появилась на общественной арене. С другой стороны, появились возможности для революционной деятельности полулегальной или нелегальной и для деятельности общественной: скажем, в качестве учителя воскресной школы или врача земской управы. Теперь все классы, все слои населения

нуждались в людях-деятелях, выдвигали их; теперь всеми стали цениться предприимчивость, инициатива, живой характер, яркое и точное слово.

Ушинский своими статьями как раз и выразил эту общую потребность в *действии*, в воспитании людей действия.

С Ушинского школа вступала в период энергичной юности и возмужания.

Шаг за шагом Ушинский пересматривает все основные «элементы» школы. Ее устройство. Ее учебники. Ее методы преподавания. Он добивается, чтобы ученики действовали, были активными на каждом уроке, внимательны, заинтересованы, энергичны. Педагог не «машина для задачи и спрашивания урока и наказания тех, кто попадаете ему под руку». «Как бы ни были чисты и возвышенны цели воспитания, оно должно еще иметь силу, чтобы достичь этих целей».

Ушинскому 31 год. Он молод, умен, глубоко образован; он и сам деятелен, сам полон энергии, которая годами не могла излиться ни на что полезное. Подобно Л. Толстому, он пришел в педагогику со стороны, с самыми широкими взглядами, не связанный традициями, не зная педагогической рутин, — пришел преобразователем, и пришел в годы, подходящие для преобразований. Как раздраженно заметил один из его сослуживцев, недовольный новшествами Ушинского, он стремился во что бы то ни стало переделать все старые порядки, «включительно до расстановки стульев».

И в это же самое время начинается работа, которая навсегда упрочила громкую славу Ушинского. Он пишет «Детский мир». Он не только рассуждает, как надо учить, — он и сам может учить! Не только высказывает соображения относительно учебников — сам пишет учебник, и какой! По коротеньким занимательным рассказам его книги дети узнают мир, учатся сопоставлять, сравнивать, классифицировать, задавать вопросы — думать! Учебник Ушинского обладал очень важным и новым для того времени качеством: он не просто сообщал знания — он развивал.

И, главное, он был интересен детям!

Увлекательный учебник — видано ли такое?

Вскоре после выхода книги на Ушинского посыпались смешные обвинения. «Обманщик! — писали родители. — Обещал книгу на год, а мы с сыном проглотили ее в два месяца».

«Детский мир» еще не вышел, а Ушинский задумывает другое:

«План книги, долженствующей иметь 25 изданий», то есть план «Родного слова» — учебника русского языка. Ушинский объявил, что основа образования — родной язык, а не западный и не древний, и это было переворотом в педагогике его времени, новшеством для всей той эпохи, начавшейся в середине XVIII века, когда каждый знавший иностранные языки считался уже и образованным, независимо от того, какие книги он читал на этих чужих языках; а каждый, кто языков не знал, считался невеждой. Позже Ушинский создаст свой учебник русского языка, и тогда обнаружится, что он просчитался. Не 25 изданий выдержит его учебник, а 157! Более десяти миллионов экземпляров книг Ушинского вышло до революции — неслыханная, небывалая цифра!

...Но это будет позже. А пока что Ушинский — инспектор классов Гатчинского сиротского института, воюет, «переставляет стулья», ссорится и, как следовало ожидать, уважаемые его коллеги, огорченные столь решительной ломкой, начали писать на Ушинского первые доносы. Проработай он в Гатчине еще два-три года, повторение ярославской истории было бы неминуемо.

Но Ушинского переводят на новую должность, с большим повышением. Он отлично зарекомендовал себя и назначается инспектором классов двух закрытых женских учебных заведений, в обиходе объединявшихся названием Смольный институт, который за сто лет до описываемого времени создал известный педагог И. И. Бецкой и который за эти сто лет, кажется, ни в чем не изменился...

Если бы кто-то поставил перед собой задачу столкнуть две крайние противоположности в русской педагогике и долго, перебирая возможные варианты, прикидывал бы, как эту задачу решить, или если бы такая задача была предложена, например, современной счетной машине, в обоих случаях ответ был бы, наверно, один: надо взять Ушинского и послать его в Смольный институт.

Самое передовое в русской педагогике и самое отсталое сшиблось, вступило в борьбу.

Смольный институт — это «кофейный», «голубой» (по цвету платьев) классы, где воспитанницы не имеют права задавать вопросы учителю и даже поднимать руку на занятиях; где девочек называют не иначе, как «госпожа» («Госпожа Сергеева, сколько будет дважды пять?»); где к приходу Ушинского никто из воспитанниц не читал ни «Евгения Онегина», ни Гоголя, ни Лермонтова; где на

каждом уроке сидит классная дама, чтобы благородные девицы — упаси бог! — не остались с глазу на глаз с учителем; где учениц не отпускают домой даже на каникулы...

Появление Ушинского в этих замшелых стенах было подобно грому небесному. Он был худощавый, нервный. Из-под черных густых бровей лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Бледный высокий лоб, тонкие бескровные губы, суровый вид и вдохновенный, проницательный взор... Увидев красивого мужчину, нового инспектора, одна из институток прокралась на вешалку и облила его шляпу духами — знак обожания, обычно льстивший преподавателям. Ушинский вбежал в класс, возмущенный донельзя.

— Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, — кричал он, — а не знаете, что портить чужую вещь духами или другой дрянью неделикатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почему вы знаете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности!

Но это было лишь начало. На уроке немецкого языка Ушинский устроил экзамен и, убедившись в полной неграмотности учениц, тут же выбрал и учителя, затем — классную даму, вздумавшую было наводить порядок в классе в присутствии Ушинского, через день — обожаемого воспитанницами преподавателя русской словесности, про которого Ушинский сказал, что тот «кадит всякие пошлости»...

Всколыхнуть эти замороженные души, пробудить в них хоть какое-то человеческое чувство, хоть проблеск мысли, хоть каплю энергии...

В несколько месяцев один за другим ушли многие из прежних преподавателей; их место заняли новые, приглашенные Ушинским. Почти все они потом стали знаменитыми педагогами.

В короткое время девочки изменились. Они начали много читать. Они больше не стеснялись преподавателей. Они, наконец, решались задавать вопросы... Воспитанница Е. Водовозова получила от матери такое письмо:

«До сих пор ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшей, то это мог произвести только гениальный педагог».

В последних словах заключался невольный приговор. Гениаль-

ный математик вызывает восторг, гениальный писатель — опасение, гениального педагога просто не терпят.

И то поразительно, что Ушинскому дали кое-какую свободу действий на целых три года. Потом замешкавшийся было механизм сработал так же четко, как и в Ярославском лицее. Донос за доносом посыпались на Ушинского.

Он принимал институтского попа отца Гречуловича у себя на квартире — в халате!

Он сидел во время экзамена в присутствии императрицы!

Инспектор Ушинский был отстранен от исполнения обязанностей; ему предстояло объясняться относительно его поступков.

Но ни одно обвинение не предъявили ему в открытую!

Несколько суток, почти не вставая, писал Ушинский оправдание, чтобы восстановить доброе имя, отвести угрозу от семьи. Доносы, если бы их приняли к сведению, угрожали ему гибелью. Ушинский обвинялся в неблагонадежности. Он был умный человек, Ушинский, но он был просто человек, а не пророк и не провидец. Он не мог знать, что за Чернышевским уже неотступно следят и через три месяца увезут в крепость; что над школой Толстого нависла угроза; что какое бы оправдание он, Ушинский, ни написал, карьера его кончена, потому что дело тут не в попе Гречуловиче, а в том, что он, Ушинский, стал опасен. Ничего этого Ушинский не знал; он видел только свое бессилие, а сильного человека сознание собственного бессилия разрушает, приводит в отчаяние.

«Неужели это награда мне за все трехлетние труды мои?.. — не писал, а, кажется, кричал Ушинский. — Какое же преступление сделал я в это время?»

Он сделал преступление: он проявил свою гениальность, не утаил ее.

Бумага была окончена. Ушинский принес ее в Смольный. Но сослуживцы, увидав его, отшатнулись: он поседел за эти несколько страшных для него дней и ночей и стал харкать кровью.

Трагическое столкновение нового и старого в русской педагогике привело к гибели обеих сторон. Ушинский заболел и больше не смог оправиться, но и старым порядкам возврата не было.

Из института Ушинскому пришлось уйти. Ему оставили прежнее содержание и послали за границу, в командировку. Что угодно, только подальше от детей и учителей. Пять лет прожил Ушинский с

семьей в Швейцарии. Там он познакомился и, конечно, подружился с Пироговым, тоже отставленным от педагогической работы. Два великих русских педагога, признанных, уважаемых, обласканных, награжденных, но не допущенных к детям...

Много успел сделать Ушинский за эти годы, несмотря на тяжелую болезнь, и главное — написать два из трех задуманных им томов «Педагогической антропологии».

Ушинский считал, что прежде всего нужно выработать научное представление о том, кого педагог воспитывает, — о ребенке, о его физической и духовной жизни. Все о природе ребенка!

Пять заграничных лет ушли на подготовку материалов к этой первой энциклопедии русских учителей. Не два шкафа — сотни и сотни книг мыслителей и естествоиспытателей всех времен перечитывает Ушинский.

Потом он вернулся на родину. Все лучшее, что было в среде русских педагогов, тянулось к нему за советом и поддержкой. И это понятно: он ответил на те вопросы, которые Пирогов поставил перед обществом, — вопросы жизни. Он показал, как воспитывать и обучать деятельного человека и каким быть учителю. Позже о нем говорили: как профессия педагогия существовала и до Ушинского, но после Ушинского она стала для людей призванием, служением, а не службой. Он был, как уже говорилось, учителем русских учителей.

Жизнь Ушинского прошла невероятно трудно. Но самое большое несчастье обрушилось на него перед смертью. Старший его сын, только что прекрасно окончивший гимназию, любимец отца, смертельно ранил себя на охоте. Ушинский приехал домой вечером того дня, когда состоялись похороны. Он упал в обморок и больше уже, кажется, и не встал. Это было в 1870 году. Константин Дмитриевич Ушинский умер 47 лет — в возрасте, в котором Песталоцци еще по-настоящему и не начинал своей педагогической деятельности, а Пирогов только приступал к ней...

Глава тринадцатая



тобы лучше представить себе общий ход развития народного образования в стране, составим короткую сводку: где и как учились знаменитые ее люди.

Державин, родился в 1743 году. Учился сначала в пансионе немца Розе (Оренбург), затем в Казанской гимназии с ее открытия (1759 год).

Лобачевский, родился в 1792 году. Учился на казенный счет в Казанской гимназии и затем в только что открытом Казанском университете (с 1807 года).

Грибоедов, родился в 1795 году. Учился сначала дома у иностранных гувернеров, с пятнадцати лет ходил с гувернером на этико-политический факультет Московского университета.

Пушкин, родился в 1799 году. Грамоте выучился у бабушки, иностранным языкам — у гувернеров; с 1811 по 1817 год учился в только что открытом Царскосельском Лицее.

Гоголь, родился в 1809 году. Грамоте его научил семинарист; затем поступил в только что открытую Нежинскую гимназию (или лицей).

Пирогов, родился в 1810 году. Грамоте выучился дома с матерью и сестрой, потом с ним занимались студенты; затем — частный пансион, Московский и Дерптский университеты.

Гончаров, родился в 1812 году. Учился в Симбирском частном пансионе, содержавшемся священником, затем в Москве — в дворянском пансионе и в Московском университете.

Ушинский, родился в 1824 году. Окончил Новгород-Северскую гимназию, Московский университет.

Чернышевский, родился в 1828 году. Учился в Саратовской духовной семинарии; окончил Петербургский университет.

Добролюбов, родился в 1836 году. Учился в Нижегородской

духовной семинарии, потом в Петербургском педагогическом институте.

Писарев, родился в 1840 году. Окончил Петербургскую гимназию, потом филологический факультет Петербургского университета.

Яблочков, родился в 1847 году. Окончил Саратовскую гимназию, затем — Николаевское инженерное училище в Петербурге.

Короленко, родился в 1853 году. Учился в Житомирской гимназии, в Технологическом институте, Петровской земледельческой академии.

Тенденция обозначается ясно. С каждым десятилетием образование все более упорядочено. Если продолжить этот список, то все чаще станут попадаться два слова: гимназия и университет (или высшее техническое училище, или институт).

Вспомним, что в начале XIX века всех гимназий в России было тридцать две. К середине века их стало около ста, к концу века — полтораста (точнее, 165), а к 1915 году средних учебных заведений в России было около двух тысяч (точнее, 1798). Как понять эти цифры? Любопытство задает вопросы «что?» да «сколько?». Главный вопрос любознательности — «почему?».

Почему стала расти сеть школ и гимназий? Какие внутренние силы двигали дело образования в стране?

Общее направление развития образования в России можно было бы определить как некую равнодействующую сил, приложенных к одной точке — к школе, но направленных в разные стороны и неравных по своей величине.

Самая мощная сила — потребность промышленности в грамотных людях. К концу XIX века, по сравнению с его началом, неизмеримо выросло количество заводов и число рабочих на них; крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, а многие и от земли; они хлынули в город. Фабрика — это машина, машиной нужно управлять, и если даже и не понимать ее устройства, то какие-то инструкции по управлению воспринимать надо. Школа в конце века нужна была практически всем, и речь идет теперь не просто об увеличении числа школ, а о том, чтобы довести это число до максимума, то есть дать возможность учиться каждому.

Экономическая потребность в образовании — это главная сила.

Рядом, почти в этом же направлении (но не совпадая!), действует сила общественная, культурная. Уровень культуры в стране за

век тоже поднялся очень высоко. Совсем недавно, кажется, вводили образовательный ценз для получения *чина*, устраивали чиновникам экзамены. Теперь в этом нужды нет, теперь все что-нибудь да кончили: кто гимназию, кто университет, кто лицей, кто училище правоведения. В списке министров народного просвещения чуть ли не подряд идут профессора, ученые!

Общая культура страны влияет на школу, заставляет ее развиваться. Грубо говоря, если отец грамотен, то он из сил выбьется, но и сына своего сделает грамотным.

Третья сила — сила прогрессивной части общества, в частности прогрессивной интеллигенции, которую волнует дело народного образования, ибо оно — объективно — содействует освобождению страны от гнета, приближает революцию. Каждый шаг на пути просвещения — шаг к революции.

А вот и четвертая сила — страх перед революцией и, следовательно, перед образованием. Революционные идеи всегда рассматривались как *излишний* продукт образования. Мол, «учился, учился и доучился». С обывательской точки зрения, образование должно якобы приводить к умиротворению, к некоему «культурному» (по отношению к властям) поведению. А если студенты («Учат их, учат! И чему только учат?») бросают бомбу в царя, то это как-то не укладывается в представление о «культурном» поведении. Значит, переучились. Значит, знание надо давать в сдержанных дозах. Или прямо противоположный, «интеллигентный» аргумент: истинно культурный человек бунтовать не станет, ибо он «понимает» ужас и бессмысленность всякого бунта; значит, не доучились, получили неосновательные, неглубокие знания; значит, надо ограничить число учащихся с тем, чтобы они получили «серьезные» знания, тогда они, вырастая, не станут бунтовать. Это был излюбленный, самый распространенный аргумент царских чиновников от просвещения: «Недоучки!» Школа не должна выпускать «недоучек», и потому пусть она «доучивает» до состояния отупения. И, главное, следует давать знание не всем, а лишь тем людям, в благонамеренности которых можно быть уверенными заранее. Так, предполагается (хоть и ошибочно), что дворянин бунтовать не будет, а рабочий — будет; оттого дворянину знание давать, а рабочего от университета подальше. В конце XVIII века школа посылала полицейских за учениками; в конце XIX века полицейских высылали против учеников. Прежде

говорили: «Стройте школы, не нужны будут тюрьмы». Когда школ понастроили, понадобилось еще больше тюрем, но уже политических.

И наконец, есть пятая сила — сила общего дремучего невежества, огромного количества неграмотных в стране, в том числе и неграмотных (в переносном смысле), стоящих у власти на разных уровнях. Эту силу инерции никак нельзя забывать — ею питается реакция. Она становится особенно опасной, когда вырастает число *полуобразованных* людей. Неграмотный благоговеет перед ученым, как верующий — перед жрецом. Знание кажется ему недостижимым, таинственным. Полуграмотный же, недоучившийся, ненавидит человека истинно образованного — отчасти из зависти, отчасти потому, что не понимает различия между ним и собой: «Что в нем такого особенного, в ученом-то? Я и сам учен!»

Итак, вокруг первой, главной, из экономики вытекающей объективной силы, двигающей образование вперед, силы абсолютно непреодолимой, группируются еще две пары «чистых» сил и «нечистых». Силы культурного движения и революционного прогресса — с одной стороны, инерция невежества и сила реакции — с другой.

Вся история развития народного образования есть история противоборства этих сил. В разные времена то одна сторона, то другая берет верх, но, как бы там ни было, в целом возможности получить образование все расширялись, особенно после 1864 года, когда появились выборные органы местного самоуправления — земства. У земств были средства (за счет местных налогов с предприятий, помещиков и крестьян), и вот эти-то средства — одна двадцатая часть доходов в каждой губернии — и были направлены на новые школы, больницы, на борьбу с голодом и нуждой. После долгих лет николаевщины, не позволявшей никакой общественной деятельности, считавшей крамолой всякую инициативу, всякий самый невинный, но самостоятельный порыв, наконец-то смогло проявить себя культурное движение. В числе земских деятелей — земцев, особенно в первые годы самоуправления, было немало деятельных людей с благородными устремлениями, вроде известного педагога барона Николая Александровича Корфа, который основал в одном из уездов Екатеринославской губернии 50 земских школ и показал, как может работать трехклассное сельское училище с одним учителем. Это было важное дело: именно такие школы, с одним учителем, ведущим одновременно на одном уроке три класса, распространились по всей стране. За первые де-

сять лет существования земств открылись 10 тысяч земских начальных школ. И, в общем-то, получилось, что именно этот «приступ» и дал необходимый стране минимум грамотных людей, которые впоследствии взялись за оружие — против царя и против самих же земцев-помещиков. Если бы во второй половине прошлого века не открывали так много школ для народа, если бы не появилось столько грамотных среди крестьян и рабочих, кто впоследствии смог бы читать листовки революционеров?

По закону земства имели право заниматься только хозяйственными делами школ, но на практике они сами приискивали кандидатов в учителя, выбирали и покупали лучшие из существовавших учебники, снабжали школы наглядными пособиями, а с 900-х годов почти полностью содержали свои школы. Земства создали несколько педагогических семинарий, открывали педагогические курсы, стали впервые проводить учительские съезды.

В это же время складывались так называемые «частные» методики: педагоги искали лучшие пути преподавания отдельных предметов — литературы, истории, географии, математики. Появился учебник физики К. Краевича, по которому учились еще и в начале века. В 80-е годы стали выходить учебники А. Киселева по математике, — их можно было встретить у любого ученика до недавних дней, спустя почти сто лет. И задачник Н. Шапошникова и Н. Вальцева, известный любому взрослому человеку в наши дни, появился тоже чуть ли не век назад, в 1887 году.

Педагогика спускалась с небес на землю — точнее, «земля» тоже начинала интересоваться ее вместе с педагогическими небесами. Прежде педагогические сочинения чаще трактовали о пользе образования и воспитания вообще; теперь начинается детальная разработка технологии обучения и воспитания, появляется много специальной педагогической литературы. Какой должна быть программа? Сколько надо задавать на дом? Как проводить беседы на уроке? Как обучить писать сочинения? Как построить урок, чтобы ученики не дремали, не сидели «без мысли в голове, без занятия в руках»?

В любой «частной» методике наших дней мы найдем положения, выработанные еще тогда, во второй половине XIX века. Сто лет назад начались споры о перегрузке учащихся; о том, надо ли исключать учеников из школы; нужны ли переводные экзамены; нужны ли школы с различными уклонами; как преподавать литературу, чтобы

сохранить любовь к книге, а не препарировать произведения на «образы», — все это обсуждалось в свое время.

Но вернемся к нашему «параллелограмму» сил. Движение за культуру приобретало все больший размах, значит, должны были активнее действовать и силы реакции.

В 1866 году, после того как бывший студент Казанского и Московского университетов 26-летний Дмитрий Каракозов выстрелил у Летнего сада в императора Александра II, министром народного просвещения был назначен гофмейстер, сенатор и Почетный член Императорской Академии наук граф Дмитрий Андреевич Толстой.

Если бы не жаль было времени и места, стоило бы посвятить отдельную главу этому человеку с подозрительно прищуренным взглядом, маленьким, узеньким подбородочком, с нелепо торчащими вверх, словно приклеенными к лицу, усами, на манер прусского офицера, стоило бы подробно разобраться в этом характере и представить, что есть культурный мракобес.

Толстой сразу объявил, что школа — именно школа! — виновата в распространении «пагубного лжеучения».

— Я постараюсь, — заявил Дмитрий Андреевич Толстой, вступая на пост, — я постараюсь, чтобы из гимназии выходили не самонадеянные верхогляды, всё знающие и ничего не знающие, но молодые люди скромные и солидно образованные.

Что же значит «скромность» по-министерски?

Это объяснено. Надо искоренить «стремления и умствования, дерзновенно посягающие на все, для России искони священное, на религиозное верование, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и уважение к установленным властям».

Скромность заключается в том, чтобы «не посягать». Скромность — это покорность.

— Еще шесть лет латыни, и вы увидите, как угомонится ваша молодежь, — сказал Толстой одному из своих знакомых.

Чтобы понять, как это выглядело на деле, почему слова о невинной латыни, об этом красивейшем из языков, выглядят так угрожающе, рассмотрим таблицу уроков в гимназии, введенную толстовским уставом 1871 года. Такие таблицы вообще интересно разглядывать, к какому бы времени они ни относились: они дают возможность реально представить себе школу и школьную политику.

Таблица, как это принято, показывает число уроков по каждому предмету за неделю по классам. В последней колонке общее число уроков в неделю за все восемь лет обучения. Восьмой класс был добавлен, кстати, этим же уставом; до того времени гимназия была семилетней. Принимали в гимназии со вступительными экзаменами: проверяли умение ребят читать, писать и считать.

Предметы	Классы								Общее число уроков
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Закон божий	2	2	2	2	2	1	1	1	18
Русский язык с церковнославянским	4	4	4	3	3	2	2	2	24
Логика	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Латинский язык	8	7	5	5	6	6	6	6	49
Греческий язык	—	—	5	6	6	6	6	7	36
Математика (с физикой, математической географией и кратким естествознанием)	5	4	3	3	4	6	6	6	37
География	2	2	2	2	—	—	1	1	10
История	—	—	2	2	2	2	2	2	12
Французский язык	—	3	3	3	3	3	2	2	19
Немецкий язык	—	3	3	3	3	3	2	2	19
Чистописание	3	2	—	—	—	—	—	—	5

Если внимательно рассмотреть эту таблицу и сравнить ее с расписанием уроков в дневнике нынешнего школьника, нельзя не удивиться.

Ну, прежде всего, где же литература? Как же — среднее образование без литературы? Изучение литературы «спрятано» в уроки русского языка, русской словесности. Мало их? Но больше и не надо, говорит Д. А. Толстой, ибо учителя «находят возможности тратить эти уроки... на самые разнородные рассуждения, совершенно бесполезные, а иногда даже положительно вредные». То же и с уроками истории. Толстой объясняет: если увеличить их число, то учителя начинают сообщать ученикам «общие взгляды на исторические

лица и события — взгляды, способные лишь противодействовать правильному умственному и нравственному развитию юношества».

Что же остается? В основном, языки. Предположим, вы учитесь сейчас в восьмом классе, что примерно соответствует шестому классу гимназии. Значит, у вас в неделю шесть уроков латинского (каждый день!), шесть уроков древнегреческого (каждый день!) и еще каждый день немецкий или французский. И каждый день надо готовить переводы по трем языкам — с русского на латынь, с греческого — на русский, с немецкого, с французского... Древние языки занимали 41 процент — почти половину! — всего учебного времени.

Во времена Ломоносова латынь была необходима: все ученые мира писали свои труды по-латински. Прошло полвека, и Пушкин написал: «Латынь из моды вышла ныне»; еще полвека минуло, а этой уже ненужной, давным-давно вышедшей из моды латыни гимназисты все еще приносили в жертву полчаса из каждого часа, проведенного ими за книгами.

«Еще шесть лет латыни, и вы увидите, как уgomонится ваша молодежь»...

Нелепость такого способа учить была очевидной. Составлялись петиции, потоком шли докладные записки, появлялись статьи в газетах...

В Малом театре артист Музиль однажды пропел куплет:

У нас сильное внимание
На одно обращено,
Чтобы наше воспитание
Ведено было умно.
И теперь уж есть надежда,
Что чрез несколько годов
Выйдут круглые невежды
Из классических голов...

«Едва пропел этот куплет г. Музиль, — писала газета «Голос», — как зала преобразилась: все, что было в театре, востучало, поднялись крики: браво, bis, bis! Оркестр начал было продолжать, но крики все сильнее и сильнее вынудили его остановиться. Публика неистово кричала bis, оркестр молчит, г. Музиль озирается по сторонам. «Bis, bis!» — не перестает кричать публика, стуча стульями и неистово аплодируя. Оркестр опять было за свое, но шум и крики стали до то-

го требовательны, что надо было уступить публике, и гимн классикам был повторен при новом и дружном громе рукоплесканий всего театра».

Обиженный гофмейстер, граф Д. Толстой обратился за помощью к министру внутренних дел. Министр оказал ему дружескую услугу: запретил исполнение куплета «на будущее время».

Древние языки делали свое дело. Получить аттестат зрелости было невероятно трудно. Около половины всех учеников оставались на второй и третий год. Гимназию в ту пору кончали в 19—20 лет, а четверть всех выпускников была 21 года и старше. В 1873 году в Ярославской гимназии держали выпускные экзамены 17 человек, аттестаты же получили лишь пять из них: остальные срезались на древних языках. Общий же итог обещанных Толстым «шести лет латыни» был таким: за эти шесть лет окончило гимназию шесть с половиной тысяч человек, а выбыло из гимназии — больше пятидесяти тысяч. Для учеников первого класса шансы окончить гимназию и поступить в университет составляли один к девяти! В 1873 году ввели дневники для записывания уроков, годом раньше — «красные доски» для записи на них имен отличнейших учеников по успехам и поведению. Особенное значение стали придавать экзаменам. Их обставляли с невероятной торжественностью. С 1872 года директор гимназии стал получать темы для сочинений и тексты для переводов в особом конверте, на котором написано было: «Вскрывать в присутствии членов испытательной комиссии и учеников перед самым началом письменного испытания по предмету».

Экзамены были кошмаром для гимназистов. «В Петербурге каждый год весной в часовне Спасителя устраивается настоящее паломничество, — пишет журнал «Образование». — Сотни и тысячи гимназистов, реалистов, воспитанников, кадет, гимназисток и пр. запружают все окрестности часовни, служат молебны, ставят свечи и многие молятся с горячими слезами... Ходят целыми партиями даже в далекую Сергиеву Пустынь, все с той же целью — искать помощи в страшный день экзаменов, день судный...»

Ученик четвертого класса 5-й московской гимназии, не выдержав этих мучений и нахватав единиц, бросился под поезд. Педагоги же, пишет в воспоминаниях один учитель, «утешали себя тем, что такая важная вещь, как латинская грамматика, требует себе жертв».

Но, может быть, мы несправедливы к гимназии? Может быть,

она была строга и требовательна, да зато давала серьезные и прочные знания?

На этот вопрос будет легче ответить, если подумать сначала над одним ленинским выражением. Незадолго до революции Ленин сказал, что массы народа были «ограблены в смысле просвещения, света, знаний». Мы еще встретимся в своем месте с этой мыслью Ленина, а сейчас только о значении слова «ограблены».

Человек ограблен — значит, у него отнято нечто ему принадлежавшее. Но можно ли считать отнятыми знания, если их и не было?

Можно. Было *право* получить знания. Каждый рожденный на свет человек имеет право получить знания, свет, стать просвещенным. Если человеку причиталось большое наследство, а его кто-то прикарманил, и притом так ловко, что человек даже и не знает о наследстве, даже и не добивается его, не думает о нем, — ограблен он или нет? Учитель — человек, который охраняет и осуществляет право каждого ребенка быть обученным, он — адвокат детей перед обществом, он вводит ребенка в права наследства, наследства особого рода: оно может принадлежать всем, не только не уменьшаясь, но увеличиваясь от раздачи и раздела.

Но можно и послать ученика в школу, однако при этом учить его так, что он не сможет, не захочет, не станет учиться. Назовем его лентяем, неспособным, как угодно; переложим всю вину на него, но факт остается фактом: этот ученик окажется обездоленным, ибо он, как те 50 тысяч исключенных из гимназии, не получит причитавшегося ему от человечества наследства знаний. Учитель, не сумевший обучить ученика, — адвокат, проигравший процесс.

Ведь рядом с казенными гимназиями существовали гимназии частные, с их прекрасными (но дорогостоящими!) педагогами, с их самыми современными и экономными способами преподавания, с их добрым отношением к детям, с их экскурсиями и летними походами по всей стране, с гимназическими театрами и кружками... И там, в этих частных гимназиях, все или почти все успевали, получали аттестаты зрелости. Беда не в том, что гимназистам приходилось изучать древние языки, — беда в том, что таким бессмысленным занятием отнимали право на «просвещение, свет, знания». А когда латыни оказалось недостаточно, прибегли к другим, более прямым средствам.

Вот хроника событий:

1874 год. Среди учителей обнаружены «бунтари». Управление школами отнято у местных обществ, земств и передано чиновникам. Каждое народное училище находится под надзором губернатора, архиерея, двух училищных советов и попечителя!

1881 год. Начали спешно открывать церковноприходские школы: им отдают большую часть средств. Приходскую школу противопоставляют прогрессивной для того времени земской школе.

1884 год. Надзор над школами кажется недостаточным, его полностью передали духовенству. Училищные советы упразднены.

1887 год. Циркуляр министра просвещения Делянова о «кухаркиных детях»: освободить гимназии от «поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

1888 год. Закрыты подготовительные классы в гимназиях, потому что обнаружено: треть учеников в них — из низших сословий.

Но сладу с гимназиями не было. Революционные кружки обнаруживались то в одной из них, то в другой. Ведь в это время в гимназиях, прогимназиях, реальных училищах, церковноприходских и земских школах сидели за партами все те, кто потом возглавил революционное движение... Александр Ульянов, брат Ленина, заявил на следствии, что он примкнул к «террористической партии еще в седьмом классе Симбирской гимназии». Запрещенная литература передавалась из рук в руки. Существовал даже негласный список наказаний, в котором точно определялось, какое именно наказание следует гимназисту, если у него найдут книги того или иного автора. По примеру папской инквизиции его называли «Index librorum prohibitorum» — «Список запрещенных книг». Наказаний предусматривалось два: карцер и «аминь», то есть исключение из гимназии с «волчьим» билетом, без права поступления в другое среднее учебное заведение. Вот этот любопытный список:

Index librorum prohibitorum

За Велинского — 6 часов карцера.

За Шелгунова — 10 (и более).

За Добролюбова — в первый раз 12 часов, во второй 24 часа.

За Писарева — аминь!

За Герцена — аминь!

За Льва Толстого (рукопись) — аминь!

Аминь, аминь, аминь... Все в школе было до предела напряжено, но параллелограмм сил складывался не в пользу «затемнителей» всякого рода. Если на гимназию и попадался один «человек в футляре», вроде Беликова, то остальные учителя (вспомним знаменитый рассказ Чехова) были народ «мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина». Да, Беликов мог запугать своими доносами не только гимназию — весь город, на его стороне была власть. Но чем кончалось дело? Беликова так или иначе «спускали с лестницы», — гимназия все-таки была гимназией, а не полицейской «управой благочиния».

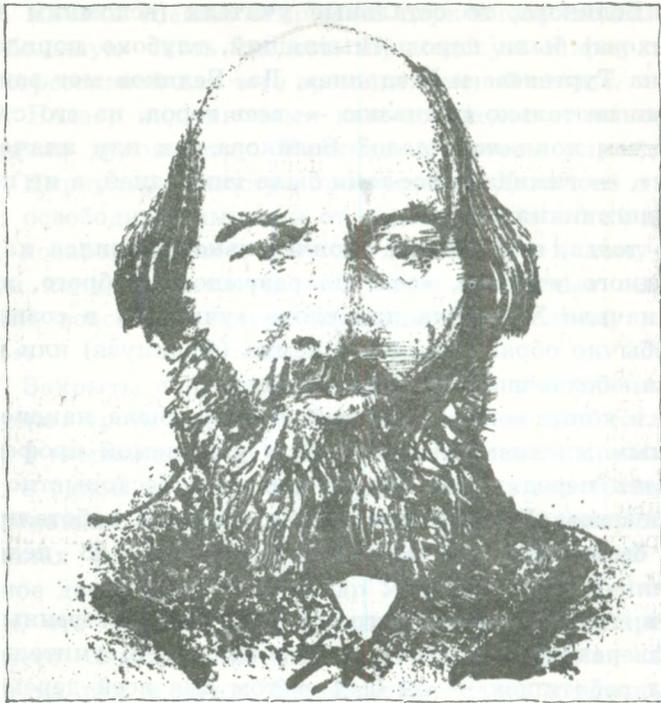
Именно тогда, в эти годы, окончательно сложился характер русского народного учителя, «сеятеля разумного, доброго, вечного».

Еще в начале XIX века при слове «учитель» в сознании людей возникал обычно образ приезжего немца (француза) или полуграмотного дьячка, обедневшего служивого и т. д.

Теперь, в конце века, профессия учителя была наконец признана общественным мнением благородной и уважаемой профессией; учитель предстал перед всеми образованным и бескорыстно служащим народу человеком. В канун революции в стране работали 280 тысяч учителей, было 189 учительских семинарий, 48 педагогических институтов.

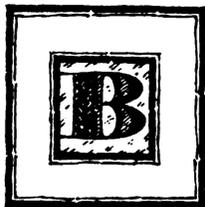
Один, в глуши, среди неграмотных, невежественных, забитых и подчас звереющих от своей забитости людей, учитель не только воспитывал ребятишек — он был светом для всей деревни. И с тех пор появилось в народе уважение к учителю: не к чину его, не к состоянию, а именно к учителю — человеку знания, своего рода праведнику. Кого только не высмеивает народная сказка, басня, анекдот: попа, царя, урядника, генерала. Но учитель — фигура неприкосновенная. Бескорыстие, вообще-то говоря, не всегда ценится людьми, но учителю прощали даже его бедность. Бескорыстие, некоторый идеализм, способность долгие годы работать, не теряя воодушевления в самых тяжелых обстоятельствах, — из таких качеств складывался образ русского учителя. Он не просто обучал грамоте — он растил новое поколение, надеялся на него...

Познакомимся с человеком, который в конце прошлого столетия восхищал людей именно потому, что в нем видели лучшие черты народного учителя.



Шлях Николаевич Ульянов был
просвещенным человеком: ни
слова на веру, ни слова против
совести.

Глава четырнадцатая



одной из самых последних, уже не написанных, а продиктованных больным Лениным работ есть строчка, на которую хотелось бы обратить внимание читателя. Мы часто спрашиваем: что же такое просвещенный, образованный человек? Тот, кто много учился? Кто много знает? Кто производит впечатление культурного человека?

Ленин, размышляя о том, как преобразовать государственный аппарат, чтобы он действовал четко, надежно, без бюрократизма, пишет, что для этого нам нужны, в частности, люди «действительно просвещенные», и дальше — вот тут-то и начинается самое главное! — коротко объясняет, что же это такое — «действительно просвещенные» люди. Вот как он говорит: это люди,

«...за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести...»

Сначала это кажется неожиданным, как будто совсем не о том речь. Но если поразмыслить, то ведь так оно и получается.

Только очень образованный человек, «действительно просвещенный», впитавший в себя всю человеческую культуру, понимающий ход истории и характеры людей, — только такой человек абсолютно не подвержен суевериям, не поддается никаким дурманам, общим фразам, лжи намеренной и нечаянной, ни слова не возьмет на веру.

Чтобы понимать факты жизни, чтобы иметь *свою* точку зрения, надо очень много знать!

Но образованность человека — пустой звук, и годы, проведенные в ученье, — впустую потраченные годы, если знание не стало сущностью человека, основой его нравственности, не стало его совестью. Знание, которое не позволяет предавать это знание, — вот совесть действительно просвещенного человека.

Столетиями идет спор о том, как влияют знания на нравственность и есть ли между ними связь. Для Ленина эта связь несомненна: действительно просвещенный человек ни слова не скажет против совести.

Быть может, Владимир Ильич потому так мимоходом, в придаточном предложении, бросил это интереснейшее определение, что оно разумелось для него само собой. Он просто напомнил о том, что сам знал давно, быть может с детства, как нечто даже не подлежащее спору и сомнению. Потому что Ленин с детства видел перед собой действительно просвещенного человека, не способного ни слова взять на веру и ни слова сказать против совести.

Этим человеком был его отец, Илья Николаевич Ульянов.

Известность пришла к Илье Николаевичу задолго до того, как всей стране, а потом всему миру стали известны имена его сыновей — сначала Александра, потом Владимира.

Если бы Илья Николаевич и не был педагогом по профессии, все равно о его деятельности стоило бы писать в каждом учебнике педагогики, потому что мы знаем результат его воспитания, мы знаем, какими стали его дети, и пройти мимо такого результата нельзя — это было бы ненаучно.

Но Илья Николаевич был педагог-профессионал, да еще какой!

После его смерти — и не только в некрологах, а спустя десятилетие! — в газетах и журналах Симбирска, Петербурга писали:

«Одним из украшений того времени несомненно были учителя нового типа, выпущенные из педагогических курсов И. Н. Ульянова» («Вестник Европы», Петербург, 1898 г.).

Публицист В. Н. Назарьев писал редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу: «В своей статье я... обязан был сказать правду о нашем бывшем инспекторе Ульянове, представляющем редкое, исключительное явление между инспекторами. Это старый студент, сохранившийся таким, каким сидел на студенческой скамье, до настоящего времени, это одна из личностей, которые когда-то так мастерски изображал Тургенев, это студент в лучшем смысле этого слова».

«Мы и мечтать не могли приблизиться к тому идеалу человека и гражданина, какой воплощал в себе И. Н. Ульянов и его ближайшие питомцы... Да, редко дарит и балует нас мачеха-судьба такими выдающимися деятелями...» («Волжский вестник», Симбирск, 1898 г.).

Мальчик Илья Ульянов родился в Астрахани в 1831 году, в небогатой семье местного мещанина. Ему было всего семь лет, когда умер отец. Осталось четверо детей; старшему, Василию, было шестнадцать. Всего шестнадцать, но он взял на себя заботы о младших и всех детей вырастил. Мы ничего о нем не знаем, но, возможно, это был один из самых удивительных людей в этой удивительной семье. Известно, например, что он был очень образован, хотя и не учился: занимался сам. Если бы сегодня 16-летний мальчишка взвалил на себя такую обузу, о нем, пожалуй, написали бы в газетах.

Из всех четверых детей Ульяновых лишь Илье удалось учиться в гимназии. Он окончил ее в 1850 году с серебряной медалью и опять был в числе четверых: только четверо гимназистов смогли в том году получить аттестаты, и лишь один из этих четверых пробился в университет — Илья Ульянов.

Образование он получил математическое. Наверно, физико-математический факультет был лучшим в Казанском университете, потому что ректором университета был самый выдающийся русский ученый первой половины прошлого века: великий математик Лобачевский. К тому времени, когда Илья Ульянов стал студентом, Лобачевский был уже стар, в отставке, но на факультете преподавали прекрасные профессора. Ульянов учился серьезно, страстно: он понимал цену учению, он не мог подвести старшего брата. Очень развитое чувство долга с этих лет стало главной чертой Ильи Ульянова. Нет, он был не приниженный *должник*, он был человек долга — долга перед наукой, если он занимался наукой; долга перед учениками, если он учил; долга перед семьей, когда у него появилась семья, и всегда — долга перед народом. Долг такого рода не гнетет человека, а возвышает его.

После университета молодой кандидат наук поступил преподавателем в Дворянский институт в Пензе. Это было что-то вроде гимназии, но особой — детей разночинцев туда не принимали. Таких институтов с третьего десятилетия XIX века было открыто около полусотни — на пожертвования дворян, однако вскоре они все позакрывались, а те, что еще существовали, постепенно хирели. Один из воспитанников института писал с некоторым удивлением: «Почему из нас вышли люди, а не нравственные уроды?» Вся система воспитания и обучения, видимо, вела к тому, чтобы из института выходили «нравственные уроды». Ученик этот находит объяснение: «Мы обя-

заны отчасти влиянию своих родителей... отчасти же влиянию тех учителей, которые вносили в нашу жизнь честный взгляд и высокие нравственные принципы». И называет этих учителей: Логинова, Захарова и преподавателя математики Ульянова.

Логинов был вскоре уволен «за стремление проводить между учащимися идеи крайнего социализма».

Захаров — за то, что «в высшей степени вредно влиял на учеников политически».

На Илью Николаевича ни разу за всю его жизнь не падало подозрение в политической неблагонадежности. Никто никогда не слышал от него противоправительственных речей, даже самые близкие люди. Он уклонялся от подобных разговоров.

Это кажется тем более странным, что Илья Николаевич был, несомненно, отчасти идеалистом, «студентом», человеком живым и страстным, верным поклонником революционеров-демократов. Добролюбова он любил больше других писателей, Некрасова — больше других поэтов. Быть может, оттого он так «странно» вел себя, что был он человеком дела, а не слова? Что, не видя никаких *конкретных* путей борьбы, не хотел и говорить о ней?

Вот судьба человека (и в ней судьба многих учителей этого времени): он не призывал к свержению правительства, не вел «возмутительных» речей, но все, кто с ним соприкасался, становились революционерами!

Ульянов уже переехал с семьей из Пензы в Нижний Новгород, когда несколько бывших учеников Пензенского дворянского института организовали маленькое тайное общество, так называемый «Ишутинский кружок», и один из них, уже упоминавшийся Д. Каркозов, стрелял у Летнего сада в Александра II, да промахнулся и был схвачен и повешен.

И революционерами стали все дети Ульянова... Все!

Быть может, лучший способ воспитания революционеров — прививать с детства «честный взгляд и высокие нравственные принципы»? Только в рамках честности и чувства долга удастся человеку идеально совмещать такие трудно совместимые, но необходимые качества, как доброта и строгость, мягкость и требовательность.

По одним воспоминаниям, Илья Николаевич был предельно мягок и добр. По другим — предельно строг, даже суховат, официален.

Нижегородские гимназисты уважали его «за прекрасное знание

им своего предмета и за талантливое, толковое изложение его и любили его за его неизреченную доброту и снисходительность к нашим проступкам в поведении и промахам в математике», писал в 1925 году бывший ученик И. Н. Ульянова — М. Карякин. «Сора из своего класса он не выносил, покрывая все своим удивительным незлобием и добродушием». Вместо двоек Илья Николаевич ставил в журнале точки, впрочем, разной величины, так, чтобы отметки-точки были понятны лишь ему да ученикам, но не гимназическому начальству. Говорил он мягким, нестрогим голосом, картавя на «р» и «л», был небольшого роста, худощав, с карими глазами. Знакомые черты... Мария Ильинична Ульянова говорит, что Ленин был «очень похож на отца» — монгольский разрез глаз, большой лоб, живой характер, привычка хохотать до слез... М. Карякин вспоминает: входя в класс, Илья Николаевич подсаживался с журналом к первой парте и начинал вызывать.

«Авейкиев! (то есть Аверкиев). На вызов, — пишет Карякин, — лениво поднимается с парты могучий Аверкиев и глухим, но грубым басом вещает: «Я, Илья Николаевич, сегодня не читал» (точно это был не урок из геометрии, а какой-то роман). На лице Ильи Николаевича появляется грустное выражение, и он каким-то грустным тоном говорит: «Ну, вот, Авейкиев, вы опять не пьготововили (не приготоовили) уока (урока). Как же это?» Аверкиев стоит, теревит свою начинающую расти бородку и упорно молчит... «Ну, садитесь, я вам *точку* поставлю, в будущий раз спрошу вас и старое, и новое». Впрочем, учились у Ильи Николаевича все хорошо, и тот же Аверкиев на другой раз обычно отвечал...»

«Это была кристальная душа. Мир праху его!» — кончает свои записки об Илье Николаевиче его бывший ученик.

Осенью 1869 года Илья Николаевич решил занять должность инспектора народных училищ Симбирской губернии. Это означало переехать в глухой по сравнению с Нижним городишко, мотаться по деревням, не знать покоя ни днем ни ночью, взвалить на себя огромную ответственность.

Начались тяжелые и радостные годы. Инспектор в то время не столько «проверял», сколько сам организовывал. Доставал деньги на школы, строил новые школьные здания, готовил учителей на курсах, подбирал их, устраивал их судьбу, проводил учительские съезды, внедрял новые методы обучения, добывал учебники и наглядные по-

собия. Многообразную деятельность Ульянова невозможно охватить даже взглядом. В наши дни ту работу, которую он делал один, выполняют целые учреждения.

«Личность Ильи Николаевича, этого беспримерного труженика, при всей своей простоте, трогательной, почти детской наивности и несколько преувеличенной вере в успех своего дела, в людей, в то, что они добры... так высока, что не поддается описанию...» — вспоминал об Ульянове его сослуживец В. Н. Назарьев.

«Бывало, сидишь в теплой, покойной комнате с книгой в руках, тревожно прислушиваясь к яростным воплям зимней метели, уже третьи сутки не выпускавшей мужика из избы, остановившей всякое движение, всякие работы, — и вдруг под самым окном прозвенит колокольчик. Думаешь, кто, зачем в такую пору, а сам уже спешешь в прихожую, чтобы встретить гостя. Входная дверь открывается, и передо мной — Ульянов, весь занесенный снегом, с обледеневшими баками и посиневшим лицом. Он не в состоянии говорить от холода и только, по своему обыкновению, добродушно посмеивается, с величайшими усилиями вылезая из своего нагольного тулупа и наполняя всю прихожую снегом. Начинаются заботы о том, чтобы как можно скорее обогреть и успокоить скитальца. Но тот как ни в чем не бывало быстро ходит взад и вперед по комнате... а сам уже заводит разговор о школе, о своих наблюдениях, школьных радостях и горестях и продолжает говорить все об одном и том же предмете во время чая, ужина; вас клонит ко сну, а он все продолжает говорить, и первое слово, с которым встретит вас поутру, это все та же школа, никогда не сходявшая с языка...»

«В одно и то же время Ульянов был просветителем целой губернии, строителем сельских школ, вечным просителем, назойливо вымаливавшим у земства лишний грош на школы, единственным руководителем педагогических курсов, им же заведенных при городском приходском училище, заступником и добрым гением учителей и учительниц, входившим во все мелочи их незавидного существования и в то же время только что не вечным курьером, обязанным скакать на перекладных по нашим проселкам, замерзать во время зимних морозов и метелей, утопать в весенних зажорах, голодать и угорать в так называемых въезжих избах. И он в течение многих лет безропотно скакал, голодал, рисковал жизнью и здоровьем, по целым месяцам не видал своей семьи...»

«Он никогда... не озлоблялся и не впадал в уныние, а такую выносливость и силу может дать только одна безграничная, доходящая до самозабвения, преданность делу», — писал о нем современник.

Можно добавить: и честность. И любовь к детям. Илья Николаевич был администратором очень редкого типа: таким, для которого административная деятельность не заслоняет людей. Он управлял школами, вел отчетность, вел переписку с министерством и учреждениями, но за всем этим видел тех детей, ради которых он работал. Учителю легко любить детей: они на его глазах, в классе. Администратор-педагог стоит высоко... Обычно дети как-то исчезают из поля его зрения, остаются лишь дела. Илья Николаевич любил детей.

Иван Яковлевич Зайцев, ученик одного из симбирских училищ, вспоминает такую историю. Однажды к ним на урок пришел директор Ульянов и стал задавать задачу. В ней все время встречалось слово «гривенник». Директор произносил его так: «ггивенник». Вот малыш и задумался: «Я ученик, и то умею правильно произносить звук «р», а он директор, такой большой и ученый человек, не умеет произносить звук «р», а говорит «гг». Директор ушел, а ребятам задали сочинение: «Впечатления сегодняшнего дня». Кто о чем писал, а Ваня Зайцев — про то, что директор картавит. Это очень поразило его! Через два дня учитель возвращал сочинения. Он бросил Ване тетрадь в лицо: «Свинья!» Сочинение было перечеркнуто крест-накрест красным карандашом, внизу стояла отметка — 0. Нуль. Мальчик чуть не расплакался. А тут опять директор пришел. Взял тетрадь, прочитал и говорит учителю:

— За что вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного креста и крупнейшей картошкой? Сочинение грамотное, последовательное, и нет здесь ничего выдуманного, искусственного. Главное — написано *искренне*.

Ульянов взял тетрадь и написал внизу: «Отлично!» И подписался.

Когда симбирские ребята кончали учебный год, Илья Николаевич устраивал для них праздник. Утром был торжественный акт, директор говорил речь, раздавали награды, а к вечеру, часа в четыре, все вновь собирались в училищной управе и «оттуда с оркестром музыки направлялись вместе с Ильей Николаевичем и преподавателями в Александровский городской сад на детский праздник. У входа в сад их встречали члены управы и попечители школ. Детям раздавали пакеты с гостинцами, угощение получали и преподаватели».

И в то же время об Ульянове шел слух как об очень строгом и требовательном начальнике. Заметив погрешности в преподавании, он мог сухо сказать учителю, что «если при следующем осмотре будут замечены те же недостатки, то он будет заменен другим, более усердным лицом».

С годами И. Н. Ульянову приходилось все труднее и труднее. Народовольцы убили Александра II. Наступила реакция. Илья Николаевич был на плохом счету в министерстве. Существовал порядок: если чиновник по возрасту должен выходить на пенсию, но еще в состоянии работать, ему предоставляют такую возможность на пять лет. Министр просвещения распорядился: Ульянова оставить только на год... Илья Николаевич стал замкнут, суров; его волновало будущее семьи. Пришел новый министр, он оставил Ульянова на его посту. И до самой смерти Илья Николаевич все ездил по губернии...

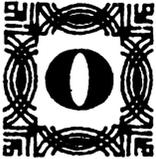
12 января 1886 года Илья Николаевич работал над отчетом; вышел в столовую, где обедала его семья, посмотрел на всех — как попрощался, — вернулся в кабинет... Через два часа его не стало.

За гробом Ильи Николаевича шли толпы людей; многие газеты поместили сообщения об этой преждевременной смерти. Не было человека, который мог бы вспомнить об Илье Николаевиче что-нибудь худое: он до последнего дня, до последнего часа оставался верен своему долгу учителя. Ни слова на веру, ни слова против совести.

Учитель — святая профессия. Как врач отвечает за здоровье людей перед своей совестью, и только перед нею, так и учитель отвечает перед своей совестью за то, какое знание он несет людям. В самую глухую пору реакции служил Илья Николаевич, служил на должности, которая специально была изобретена для обуздания выходивших из-под правительственного контроля земских деятелей просвещения; был чиновником и дослужился до генеральского чина — был действительным статским советником, «превосходительством», но остался честным человеком. Честным одинаково можно быть (и одинаково трудно быть!) в любом положении: и в нищете, и в богатстве, находясь на самом низу общественной иерархии и почти на самом верху ее.

Состоял учителем мологи́нской земской школы с 1869 года сентября 10 дня по 1916 год июня 26 дня и вышел на пенсию, прослужив на ниве народного просвещения сорок семь лет. Николай Раменский. 28 июня 1916 года. Село Мологино Ржевского уезда Тверской губернии.

Четвертая запись в семейной хронике учителей Раменских.



пять все по-новому на берегах неутомимой Итомли, молчаливо продолжающей свой бег.

Река Итомля, река Итомля... Речка, речушка, ручей в сравнении с Волгой, Камой, Москвой или с сибирскими широкими реками... Но что станет

с их воспетым полноводьем, если пересохнут маленькие Итомли?

И чья вода в тех реках — разве не из Итомли?

В мологи́нской школе по-прежнему Раменский, но другой, новый, не по имени новый, а всем своим существом, всеми связями с миром, положением своим новый. По званию — тот же: звание — учитель. А содержание у этого слова теперь другое. Вечно только то, что обновляется, способно обновиться. Вечный учитель — вечно новый учитель. Все та же нива — поле народного просвещения, и та же семья трудится на своей полоске, доставшейся от деда и прадеда, на поле, где не бывает жатвы — только посев и рост, и опять посев, опять рост...

У каждого человека своя полоска, своя часть земного шара, своя доля в общей ноше земных трудов, — как вы несете ее, новый учитель Раменский, не сгибаетесь ли под тяжестью?

Завидной силы человек. Его отец Пахомий Алексеевич учительствовал 35 лет, его дядя Пафнутий Алексеевич — страшно сказать! — 60 лет... Глубоко корнями врастают в землю старики Раменские, шутя играют, перекидываются веками: дед начинал одно столетие, а внук уже в другое выходит вместе со своей новой школой, которую сам, с помощью крестьянской общины, поставив ей два ведра водки для спорости в работе, выстроил на месте дедовой.

Хорошая школа, толстостенная, крепкая, с двумя классами, с большими окнами. На два или три поколения Раменских хватило бы, простояла бы лет сто — сто двадцать, если бы...

Но об этом — в своем месте.

Строили школу, думали: просторна будет. Да все больше и больше ребятшек набивалось в нее.

По статистическим ведомостям, случайно сохранившимся, видно, что в Мологине:

в 1897 году было 75 учеников (среди них 19 девочек),

в 1899 году, при постройке школы, — 107 учеников,

в 1911 году — 131 ученик (среди них 49 девочек).

Приходилось тесниться, ставить скамеечки поуже. Сидеть на них резко? Ничего, одежонку под себя подложи — вот и просидишь урок, не сомлешь. Терпи, все терпи, школьник, — грамотеем будешь... А грамотей — большой человек, ему в городах-то славу поют! Или не слыхал?

*Слава, слава тебе, грамотей,
Радостью будешь семье ты своей,
Да будет наука на пользу тебе,
Родному селенью и русской земле!*

Грамотеев в Мологине становилось все больше: традиция. Уже безграмотному-то стыдно! А ведь тогда, можно сказать, и начинается культура, когда перестают хвастать, как хвастал один древний начетчик: «Аз бо есмь умом груб и словом невежа»; перестают гордиться: «Мы академиев не кончали», а стыдятся своего невежества и самым большим оскорблением считают презрительное слово «неуч».

В новой школе новый Раменский и учит по-новому. Уже не псалтырь — настоящие учебники в руках его учеников, на стенах класса не только икона, а большая карта земных полушарий, таблицы, плакаты; есть в училище своя библиотека и даже волшебный фонарь с диапозитивами, — чем не современная школа?

Николай Пахомович держится в ней уверенно, он не самый бедный в селе и не зависит от мирского схода: земство платит ему, хотя и немного: 200 рублей в год (вспомним, что Ушинский, служа в департаменте и бедствуя, получал 400). Но ничего, в селе жизнь дешевле, пребивается: пасеку завел, медом

приторговывает, и после него у всех Раменских пасеки будут.

Значительное лицо в своем селе Николай Раменский. Держится недоступно, в классе строг. Одним видом своим внушает уважение к учению, этакую беспрекословность, невозможность даже и порассуждать: надо ли, мол, учиться? Надо.

Растет семья учеников, растет и семья учителя: каждый Раменский, сколько их было, оставил за собой не только с тысячу-другую грамотеев, а еще и пятерых-шестерых потомственных учителей. Уже все школы в окрестных селах заняты потомками первого Раменского. Николай Пахомович тоже растит себе смену, на его иждивении семь лиц: жена, два сына и четыре дочери. Дочери теперь не обуза: новые времена, теперь и дочерей к учительской кафедре допустят, было бы образование, но это уж забота отца... Николай Пахомович детей своих держит строго, как и учеников. Сын приедет на каникулы из семинарии:

— Здравствуй, папа!

— Нет, сначала покажи табель, потом здороваться будешь.

За образованием детей следил, потому что всех хотел видеть учителями (и всех увидел учителями). Объяснял, почему так:

— Служба учителя — самая чистая, никуда не собьешься.

Пока дети растут, страшно за них, за их честь: а ну как случится худое? А в учительском деле какие соблазны? Богатство учителю не светит, лихоимством учителя не занимаются, не то что чиновники, карьеру не делают — чистая служба, никуда не собьешься.

Дети учились на учителей кто где, а летом съезжались в Мологино. Николай Пахомович говорил про свой дом:

— Это гнездо для всех, слетайтесь, как голуби.

Слетались голуби-голубчики. Хорошо им было дома — «на своей даче, на своей террасе». Река рядом, лес рядом, в комнатах много книг: 150 лет собирали библиотеку Раменские.

Приезжали дети, приезжал издалека и брат с семьей, Алексей Пахомович Раменский, большой человек — действительный статский советник, генерал, как Илья Николаевич Ульянов. Алексей Пахомович под крылом Ульянова и вырос, помощником его был, а потом занял такой же пост, что и Ульянов, только не в Симбирске; а в соседней губернии — в Пермской. Человек

выдающихся способностей, прошел он через духовное училище, духовную семинарию, духовную академию и вышел в большой свет, чтобы громко, на всю Россию объявить, наконец, о существовании Раменских. «Пермская губерния в деле народного просвещения занимает одно из самых видных мест во всей Российской империи», — с гордостью писал он.

Это ведь неверно — представлять себе, будто до революции какая-нибудь, скажем, Пермская или Тверская губернии были чем-то вроде пустыни: ни школ, ни библиотек — ничего. Под управлением пермского земства было без малого девятьсот библиотек, а в них — больше полумиллиона книг. В школах — гербарии, коллекции минералов, модели земледельческих орудий, образцы почв, а в некоторых училищах, как сообщал Раменский, были и небольшие физические кабинеты. Всего этого очень мало, но — пустыня? Нет, деды и прадеды нынешних калининских или пермских ребят не сидели сложа руки.

Среди знакомых первого Раменского был Радищев, знакомства второго Раменского — Карамзин и Пушкин, а в списке людей, которых знал Алексей Пахомович, — Шалапин, Комиссаржевская, Левитан, Тимирязев, изобретатель радио Александр Попов. По некоторым сведениям, Раменский бывал во Франции, Италии, Персии, Индии...

Но как далеко ни продвигался по службе Алексей Пахомович, летом его видели возле школы своего деда и прадеда — он был ее почетным попечителем.

По царским дням Раменский-младший ходил по селу в расшитом синем вицмундире, со шпагой, а так — в простом сюртуке. Приезжая на родину, первым посещал деревенских стариков, с которыми в молодости учился у отца своего Пахома Алексеича.

Высоко поднялся Алексей Пахомович, но не выше брата. Зависти между ними не было, старшинство уважали, а главным наследством, главным надделом для всех Раменских всегда была их мологинская школа. Понимали они: пока стоит их школа, пока сбегаются в нее ребятишки, стоит на земле и род Раменских. Наверно, ни одно дворянское семейство не оберегало так свое родовое поместье, как Раменские — свою школу. Да и то сказать: школу ведь не заложишь, не перезаложишь. Взять с

нее нечего — только отдай. А «отдай» дороже, чем «возьми», ближе к сердцу.

...Они собирались большой семьей — все учителя. Николай Пахомович немножко играл на скрипке; сын Аркадий — на гитаре, он же и пел, у него был хороший голос; дочь Антонина пела романсы. Приходили любимые ученики Николая Пахомовича: Иван Гаврилов, Иван Королев, Калачев (они тоже все стали учителями). Гаврилов заводил на фисгармонии:

*Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры —
Ненавистен нам царский чертог!*

Николай Пахомович сердился:

— Помолчи, сейчас урядник!

Как-то Нина, одна из дочерей, приехала в Мологино радостная:

— Папа, мы в училище забастовали!

— Вот хорошо-то, — отвечал отец. — Вы забастовали, Аркадий в семинарии забастовал, — что же я вас, в кадке солить буду?

Впрочем, Николай Пахомович ворчал больше для порядка, больше по строгости своей природной. Дом его с начала 900-х годов был всегда полон «забастовщиков», особенно с тех пор, как семнадцатилетняя Нина вышла замуж за поднадзорного революционера, учителя Николая Яковлевича Смолькова, сына мологинского врача. Смольков так уговаривал Нину пойти за него:

— Учитель теперь какой должен быть? Ему на сходках выступать, на мазевках, доклады делать... Вы должны быть первой в семье, чтобы уважали вас, как отца вашего. Авторитет заслужить надо...

Смольков показался Нине авторитетным, она пошла за него: он был боевой человек, большевик-подпольщик, в то же время хороший учитель — ему даже премию давали за его работу в школе.

В те годы в библиотеке Раменских, где хранились еще номера пушкинского «Современника» и некрасовских «Отечественных записок», появилась тоненькая двенадцатикопеечная брошюра:

ее прятали то в комплекте журнала «Нива», то в алфавитном указателе к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Это была программа и устав Российской социал-демократической рабочей партии, да еще к тому же очень дорогой экземпляр программы и устава: с пометками самого Ленина. Когда после 1905 года все Раменские попали под подозрение полиции, Смольков зарыл программу в подвале; нашли ее лишь спустя сорок лет.

Что первые Раменские были знакомы с Радищевым и Пушкиным, этому можно было еще удивляться, считать интересной случайностью. Но уже и не удивляешься, когда в семейную биографию сельских учителей вплетается имя Ленин (а впереди еще визит Раменского к Ленину, подарок Раменскому от Ленина!), — это кажется естественным. Разве могло быть иначе?

Из поколения в поколение Раменские вбирают в себя все лучшее в русской культуре, словно взяли на себя обязанность сохранять ее и передавать потомкам. Маленькая речушка Итомля, маленький ручеек культуры в Мологине, а пересохнет — беда стране.

Глава пятнадцатая



о сих пор мы *описывали* наследство, доставшееся Советской власти от царской России; теперь нам нужно *посчитать* его. Школа на берегу реки Итомли и другие такие же школы — драгоценные камушки, но сколько их, таких камней, в короне народного образования? Что она *сто́ит* в целом, эта корона?

Прежде, говоря о числе школ и гимназий, приходилось считать их от нуля, радоваться увеличению цифр. Но вот уже не екатерининские времена — XX век наступил, и теперь меняется точка отсчета: не от нуля надо считать школы, а от ста процентов необходимого их количества. Веком прежде всякая цифра могла показаться большой, теперь она же, эта цифра, становится маленькой, если она не сто процентов...

Четвертого июня 1913 года на трибуну IV Государственной думы поднялся депутат-большевик Алексей Бадаев. Когда Бадаев выступал впервые, хоры для публики и ложи для журналистов были переполнены. Дамы наводили лорнеты: любопытно! Рабочий-слесарь, молодой красивый человек — и депутат Думы!

Но в этот июньский день Бадаев выступал уже привычно, почти не волнуясь.

Бадаев разложил перед собой листочки с текстом речи. Это было важное выступление, и оно требовало серьезной подготовки. В Думе шли прения о бюджете министерства народного просвещения. Никто в Думе не знал, конечно, что речь для Бадаева написал неделю тому назад в Польше, в Поронине, Владимир Ильич Ленин и тайными путями переправил в Россию. Опытный оратор подготовил речь не очень опытного — это естественно. Бадаев говорил словами Ленина, публично читая с трибуны Думы его записки. Хотя, по установленным правилам, речи читать не полагалось, требовалось «говорить

своими словами», хотя председатель мог сделать за это замечание и даже лишить трибуны, Бадаев читал почти слово в слово, и сегодня можно цитировать его речь по двум источникам — по XXIII тому полного Собрания сочинений В. И. Ленина, где она напечатана с рукописи, и по официальному стенографическому отчету IV Государственной думы, — тексты почти совпадают, хотя, конечно, Бадаев внес свою окраску — это была все-таки *его* речь.

— Господа члены Государственной думы, — начал Бадаев, — наше министерство просвещения чрезвычайно похвально тем, что расходы его растут особенно быстро...

Действительно, по отчетам выходило: расходы на народное просвещение выросли колоссально — на 167 процентов.

Но что значит это увеличение? «...До смешного маленькие цифры в процентном исчислении их возрастания растут всегда с «*громадной*» быстротой. Если нищему, имеющему три копейки, вы дадите пятак, увеличение его «имущества» сразу будет «громадное»: на целых 167%!»

Но нищий останется нищим, и «бюджет» его будет нищенским...

Ленин показывает: в Северо-Американских Штатах расходы на образование составляют в среднем 9 рублей 24 копейки на одного жителя страны.

В Бельгии, Англии, Германии — 2—3 рубля, 3 рубля с полтиной.

А в России? 1 рубль 20 копеек... Вдвое, втрое, в семь раз меньше!

Нет, это не министерство народного «просвещения». Бадаев убирает кавычки и без обиняков бросает в зал ленинское:

— «Министерство народного затемнения!»

В зале поднимается шум. Министерство оскорблять нельзя — это неэтично.

Но Бадаев продолжает читать записки Ленина. Каждое слово обосновано и подкреплено цифрами, взятыми из официальных справочников. И среди всех цифр главная, убийственная цифра: дети школьного возраста составляют 22 процента всего населения России, а учится в школе — страшнейшая цифра! — 4,7 процента населения, то есть «почти впятеро меньше!». Бадаев выбрасывает в зал эти слова, жирно подчеркнутые Ильичем: «*почти впятеро меньше!!*»

— Это значит, — с гневом продолжает он, — что около *четырёх пятых* детей и подростков в России *лишено* народного образования!!

Бадаев делает короткую паузу и произносит ленинские слова, которые потом будут цитировать бесчисленное число раз, потому что в них — итог всей политики царизма:

— Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были *ограблены* в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России.

Серьезнейшее обвинение: «такой страны в Европе не осталось ни одной». Обосновано ли оно? Может, сказано в запальчивости, в гневе?

Нет. Обвинение это абсолютно справедливо. Чтобы не было никаких сомнений, вот точные цифры, которые Бадаев не приводил, но, конечно, мог бы привести, если бы от него этого потребовали.

В 1910 году «показатель образования» — число учащихся на сто человек населения — составлял:

в Англии	— 17,1,
в Германии	— 17,0,
во Франции	— 14,2,
в Бельгии	— 12,3,
в Испании	— 11,9,
в Италии	— 8,0,
в Румынии	— 7,6.

Каков же «показатель образования» в России?

Его стоит написать буквами, а не цифрами, чтобы не подумали, будто здесь опечатка:

четыре и шестьдесят семь сотых (4,67)!¹

Ниже России в мире (а не в Европе — в Европе никого ниже не было) стояли лишь

Перу	— 3,8,
Гондурас	— 3,48,
Бразилия	— 3,3,
Гватемала	— 2,7,
Сан-Сальвадор	— 2,05.

...Еще раньше, до речи для Бадаева, Ленин приводил в статье «Русские и негры» такие цифры:

¹ Эту цифру приводит В. И. Ленин, ссылаясь на официальный «Ежегодник России», изданный в 1910 году. По данным однодневной школьной переписи 1911 года, показатель образования в России был еще ниже: 3,85.

В России неграмотных — 73 процента (не считая детей до 9 лет), а среди американских негров — лишь 44,5 процента.

Население Российской империи имело вдвое меньше грамотных, чем недавно вышедшие из рабства негры. «...Безграмотность — один из следов рабства», — писал тогда Ленин.

И в речи для Бадаева:

«Американские негры, как ни придавлены они к стыду американской республики, все же счастливее русских крестьян...»

Вот еще любопытное, хоть и частное свидетельство, отысканное уже в наши дни: подписи на брачных свидетельствах. Простое дело: когда человек вступает в брак, он должен расписаться в соответствующей книге. Сейчас даже существует такое просторечное словечко: «расписаться». Говорят: «Мы с ним расписались», то есть «мы с ним поженились, зарегистрировали брак». До революции крестьянину «расписаться» было не так-то просто — поставить свою подпись умел далеко не всякий...

В Вятской губернии, например, как показали исследования записей о браках, в 1859—1868 годах из ста женихов 29 были грамотны (то есть умели расписаться!), а из ста их невест — лишь одна...

К 1907 году цифра эта выросла: теперь в той же Вятской губернии умели расписаться 58 женихов из ста и 19 их невест...

Общая неграмотность приводила к курьезнейшим случаям. В августе 1913 года во многих газетах страны было перепечатано смешное сообщение из Тобольской губернии, где волостной писарь, по невежеству не поняв какой-то присланной ему бумаги, объявил по волости... мобилизацию. Запасные солдаты распродали за бесценок свои пожитки и двинулись в уездный город; их было несколько сот человек. На пути им встретился кто-то пограмотнее; разобрались, в чем дело, — чуть не растерзали своего писаря-грамотея...

Но самое страшное заключалось вот в чем: «ограблен в смысле образования, света и знания» был именно простой народ.

Из тысячи крестьянских детей в канун нынешнего века лишь один имел надежду закончить гимназию, а получить высшее образование мог один из ста тысяч сельских ребят!

— И не забывайте, — говорит Ленин, — что мещан и крестьян в России 88 процентов населения, т. е. без малого *девять десятых* народа. А дворян всего *полтора процента*. И вот, правительство берет деньги с девяти десятых народа на школы и учебные заведения

всех видов и на эти деньги учит дворян, заграждая путь
мещанам и крестьянам!! Неужели не ясно, чего заслуживает это
дворянское правительство?

После революции 1905 года положение несколько изменилось:
в гимназиях, например, дети из сельских сословий уже составляли
22 процента, а дети дворян и чиновников — «лишь» 32 процента.

Люди выходили на баррикады, в них стреляли из пушек, кони
давили восставших, падали убитые на булыжные мостовые Красной
Пресни, в дома рабочих вползала страшная весть: отец убит... муж
не вернется... Революция. Она принесла перемены, и в том числе пе-
ремены в тех «процентах», которые только что были указаны. Каж-
дый процент сочился кровью... Образование — первейшая потреб-
ность человека; за него приходится воевать не только речами, статья-
ми и докладами — винтовками и бомбами.

С конца прошлого века начали говорить наконец о всеобщем и
обязательном обучении детей, то есть о том, что давно уже было вве-
дено в других странах Европы. Количество начальных школ быстро
возрастало. С 1869 по 1883 год открывали по тысяче школ ежегодно,
начиная с 1884 года — почти по две тысячи школ, потом по три
тысячи... За сорок лет после освобождения крестьян число учеников
выросло почти в четыре раза и перевалило за три миллиона, и вот
эта-то огромная цифра и составляла всего одну пятую всех детей.
Остальные были по-прежнему «ограблены»...

Педагоги и публицисты подсчитывали: когда же в России будет
всеобщее начальное обучение?

Педагог А. Н. Страннолюбский в статье «Пятна невежества» при-
вел свой расчет: через 125 лет...

В губерниях создавались комиссии по всеобщему обучению.
Комиссии запрашивали сведения о состоянии дел. Вот ответы, приве-
денные в «Протоколе занятий» такой комиссии в Тверской губернии.

Председатель Корчевской земской управы сообщает:

«Приступить в настоящее время к организации всеобщего необя-
зательного (!) обучения весьма желательно, но невозможно по не-
имению средств».

Председатель Старицкого училищного совета (в Старицкий уезд
входило и наше село Мологино):

«На просьбу губернской управы сообщить ей о возможности в

близком будущем сделать народное образование доступным для всего мужского населения уезда, честь имею сообщить следующее: ...главное препятствие для введения в уезде общеобразовательного обучения для мальчиков замечается в том, что значительная часть населения по бедности своей не может посещать школу и по недостатку теплой одежды... Небольшое количество учеников в некоторых земских школах не происходит от недостатка населения школьного возраста, а просто по невозможности посещения школ... Некоторые из крестьян потому не посылают детей в школу, что они им необходимы нянчить маленьких; другие берут своих детей из школ до окончания учебного года, желая их отдать в заработки...

Предводитель дворянства Головин.

17 марта 1894 г.

В суховатом ответе уездного предводителя дворянства, председателя училищного совета затронута самая суть проблемы.

Даже если бы к 1910—1914 годам открыли вдвое и втрое больше школ, все равно народ по-прежнему оказался бы *ограбленным*, ибо возможности учить детей хотя бы в начальной школе у многих крестьянских семей не было по самым простым причинам: не было теплой одежды, чтобы посылать детей на уроки (см. ответ Головина).

Но вернемся в зал Государственной думы. Депутат-большевик слесарь Бадаев продолжает свое выступление, перебирая записи по материалам Ленина:

— Россия бедна, когда речь идет о жалованье народным учителям. Им платят жалкие гроши. Народные учителя голодают и мерзнут в нетопленных и почти нежилых избах. Народные учителя живут вместе со скотом, который крестьяне зимой берут в избу. Народных учителей травит любой урядник, любой деревенский черносотенец или добровольный охранник и сыщик, не говоря уже о придирках и преследованиях со стороны начальства. Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное...

И, чтобы речь Бадаева не выглядела голословной, Ленин приводит выдержку из выступления депутата-октябриста Клюжева: «Загнан, как заяц, педагог».

Это положение можно подтвердить многими и многими фактами.

Известный педагог того времени Н. В. Чехов писал, что из-за низкого жалования учителя «стремились при первом удобном случае переменить это дело на всякое другое, потому что всякий другой наемный труд оплачивался лучше учительского».

По данным департамента полиции, за годы первой русской революции подверглись всевозможным репрессиям — от увольнения до ссылки, до каторги, до виселицы — 23 тысячи учителей!

Учитель первым отвечал за революционные взгляды своих учеников, независимо от того, «виноват» он был в распространении этих взглядов или «не виноват».

Пристав Курганского уезда, Тобольской губернии, доносил начальству в 1903 году, что в одной из школ ученики поют песню: «Болванушка-болван наш Николушка Роман»; учил их этому сначала учитель Шмелев, теперь — учитель Рождественский...

В ночь на 16 мая 1904 года ученики Нигоитского училища на Кавказе «достали со стены портрет государя и, вырезав голову, взяли ее с собой, а остальную часть портрета оставили». Учитель был отстранен от должности.

Учитель расплачивался за все. Его подозревали во всех грехах, его считали неблагонадежным уже потому, что он — учитель. С девятидесятых годов многие учителя стали устраивать «народные чтения»: собирали по вечерам крестьян и читали им короткие лекции, отрывки из сочинений классиков. Чуть только распространилось это новшество, как вышло распоряжение: «Назначенные для публичного чтения сочинения не произносятся, а читаются по тексту, без всяких изменений и дополнений», чтобы не дай бог учитель не сказал что-нибудь «от себя»! А для того чтобы устраивать чтения, требовалось разрешение министерства народного просвещения, министерства внутренних дел и обер-прокурора святейшего синода...

...Речь Бадаева шла к концу. Что же предложит Ленин? Увеличить ассигнования? Улучшить быт учителей? Построить новые школы?

Нет. С *такими* предложениями думские депутаты выступали все подряд, и каждое такое предложение было обманом. Оно создавало видимость заботы о просвещении народа и скрывало главное: что царское правительство не может и не хочет дать образование народу, ибо оно враг просвещения.

И Ленин вносит единственно возможное в этих условиях *деловое*

предложение, а именно: поскольку главное препятствие для развития школ — царское правительство, то надо это препятствие устранить — выгнать правительство.

Бадаев так и говорит с думской трибуны:

— «Не заслуживает ли это правительство того, чтобы народ его *выгнал?*»

В зале поднялся шум. Кто-то с правых скамеек выкрикнул:

— Ну, вы, потише, смотрите, чтобы *вас* не выгнали!

Назревал скандал. Председательствующий, князь В. М. Волконский, вскочил, затряс колокольчиком, объявил:

— Член Государственной думы Бадаев, за последнее ваше выражение лишаю вас слова!

Зал захлопал: правые аплодировали «решительности» председателя, кричали в адрес Бадаева:

— Давно его пора выгнать!

Левые хлопали и кричали в поддержку Бадаева.

Речь Ленина осталась недосказанной. Но она была пророческой. Хотя через год с небольшим Бадаев вместе с другими депутатами-большевиками и пошел под суд (другого пути «выгнать» его из Думы не нашли), но еще через три года народ *выгнал* царское правительство, а потом и правительство Керенского.

Главное препятствие на пути народного образования было устранено.

Глава шестнадцатая



ельзя вечно сидеть дома — надо и путешествовать. Но, путешествуя, надо и домой возвращаться... Вернулись.

Мы еще в истории — в тех временах, о которых историки пишут (пятьдесят лет прошло, полвека!), — и в то же время мы уже в сегодняшнем дне. Дома. Любой день после 25 октября 1917 года — наш, потому что мы за него отвечаем, даже если родились пятнадцать, двадцать и тридцать пять лет спустя после 25 октября 1917 года. Что это означает — «отвечаем»? В каком смысле — «отвечаем»?

А во всех. Мы довольно спокойно читаем о том, что относится к прошлому или позапрошлому веку, но мы неравнодушны к каждому нашему дню. Мы злимся, если день — любой в этом пятидесятилетии — был плохой; радуемся, если удачный; мы спорим, оценивая его, мы не любим, когда на эти дни нападают с враждебностью, мы морщимся, если их слишком захваливают, словно захваливают нас самих. Лишь только речь заходит об этих днях, счет которым начался с 26 октября, мы становимся неважными историками — мы слишком пристрастны.

Революция совершилась 25 октября, а через пять дней, 1 ноября (по старому еще стилю), было «распубликовано», как тогда говорили, «Обращение народного комиссара по просвещению».

Это был торжественный документ — первый документ Советской власти о народном образовании. Анатолий Васильевич Луначарский, первый нарком по просвещению, написал его быстро, и вряд ли его долго обсуждали перед публикацией. Торжественный стиль, торжественные слова... Близость осуществления мечты, даже если это кажущаяся близость, пьянит, настраивает на восторженный и возвышенный лад.

«Граждане России!

Восстанием 25 октября трудящиеся массы впервые достигли подлинной власти.

...Волею революционного народа я назначен комиссаром по просвещению.

...Всякая истинно-демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей первой целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок *всеобщей грамотности* путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройство ряда таких учительских институтов и семинарий, которые как можно скорее дали бы могучую армию народных педагогов, потребную для всеобщего обучения населения необъятной России».

Луначарский писал, обращаясь не столько к людям, сколько к мечте, — он ее призывал. Он уговаривал: «Щедрый бюджет просвещения — гордость и слава для каждого народа». Он предупреждал: «Взрослые тоже захотят спастись из унижительного состояния человека, не умеющего читать и писать». Сердился: «Было бы позором держать дальше в нищете учителей огромного большинства российских детей».

Прекрасная программа. Все знали, что не в один день она выполнится, что будет много трудностей. Но кто мог предполагать, что трудности будут *такими*, что наступит война и разруха, что школ станет не больше, а меньше, что учителя будут получать не больше, а меньше, чем до революции, и так не год, не два, не три — почти до середины двадцатых годов!

Эту главу можно было бы выдержать в торжественно-парадном стиле: пришла революция и сразу появились школы, дети пошли учиться, всеобщий подъем народного образования. Но писать так — значит приуменьшать значение сделанного позже.

Чтобы оценить подвиг народа, совершившего культурную революцию, надо точно представить себе уровень, с которого пришлось начинать.

Это был не дореволюционный уровень.

Он был еще ниже, гораздо ниже.

Действительный статский советник Алексей Пахомович Рамен-

ский вскоре после революции был послан с делегацией ходоком к Ленину: просить хлеба для тверских учителей. Учителя голодали! Не в мундире шел он, не с орденами и лейтами через грудь: в фуфайке и в валенках с галошами, подвязанными бечевками, чтобы не потерять. Старый симбирский учитель Егор Иванович Пастухов так передает рассказ Алексея Пахомовича об этой поездке:

«Был, говорит, у главного большевика. Когда-то рыбу вместе ловили, а теперь стоит во главе такой империи. Принял приветливо, вспоминал Симбирск. Скромный, головастый, в отца... Хлеба, говорит, Ленин не дал, а вот книгу о хлебе дал. Хлеб, говорит, берите на месте и нам помогайте». Алексей Пахомович все удивлялся, как это можно: немцы и белые под Питером и Москвой, голод и колод, а он, Ленин, думает, как мужиков грамоте учить. «Правильно, — добавлял от себя Алексей Пахомович, — за главный корень берется, без грамоты нам нельзя, а то немцы забьют».

«Книга о хлебе», которая упоминается здесь, называлась так: «Н. Ленин. Борьба за хлеб». Владимир Ильич карандашом написал на ней:

«Представителю Тверской губернии
тов. Раменскому

Передайте учителям Тверской губернии, что их хлеб находится у кулаков и что задача Советской власти заключается в том, чтобы этот хлеб передать трудящимся.

22/II 1919 г.

В. Ульянов (Ленин)».

Когда в конце XVIII века система школ только создавалась, возникла проблема: где взять учителей, учебники и учеников?

Сейчас опять ничего не было — ни учителей (мало! И не все они сразу приняли Советскую власть: учителя Москвы и Петрограда, например, бастовали, требуя Учредительного собрания), ни учебников (старые! Да и тех не было). А ученики?..

Учеников теперь было неимверное количество, вся страна будто с ума сошла — все хотели учиться; но прежде чем учиться, надо было отстоять жизнь, свободу, отстоять свою страну. Прежде чем просвещать, надо было спасать тех, кого предстояло просвещать. Прежде чем издавать закон о всеобщем, пришлось объявлять декрет о всеобщем — о всеобщем *военном* обучении. За будущее образование народа

пока что приходилось расплачиваться образованием же. Истерзанное гражданской войной государство могло выделить на просвещение лишь крохи, и то приходится удивляться (как удивлялся Алексей Пахомович), что хоть это давали...

Вот Свердловский коммунистический университет: учебное заведение, находившееся в центре внимания. О нем говорили на XI съезде партии в 1922 году. Что же говорили?

«Мы имеем в Свердловском университете до тысячи курсантов больных и истощенных. Мы имеем в течение 10 дней за месяц отсутствие каких бы то ни было приварков к обеду... Мы имеем ряд случаев обмораживания конечностей во время сна за отсутствием топлива, мы имеем перебои в варке пищи. От отсутствия мыла мы имеем тиф и чесотку... Мы имеем там ежемесячно около 600 курсантов босых да 500 в худом белье».

Это 1922 год. А вот уже 1924, май. Надежда Константиновна Крупская докладывает очередному, XIII съезду партии о результатах обследования в Псковской, Гомельской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской губерниях, в Уральской и Чувашской областях.

«Материал, который дало это обследование, — семь больших томов с описанием всех деталей, — показал кошмарную, ужасающую картину состояния дела народного образования в волостях», — говорит Крупская.

Учитель в нищете. «Учителя никто не кормит, он сам кормится». В некоторых губерниях «учитель сведен на положение пастуха в прежнее время. Учитель ходит из дома в дом, сегодня он кормится в одном крестьянском дворе, завтра в другом, послезавтра в третьем, а иногда и ночует так... Учителя, вовсе не религиозные, которые не крестят принципиально своих детей, все же вынуждены для того, чтобы не умереть с голоду, читать псалтырь по покойникам. Но это уже исключительный случай. Обыкновенно учитель живет тем, что нанимается летом в работники к кулаку или вяжет варежки, шьет обувь, или в лучшем случае хозяйничает на своем хозяйстве, если он местный крестьянин».

В Пензенской губернии «учительница занимается с учениками в своей комнате, а так как комната тоже еле-еле отапливается, то она сидит в лохмотьях на печи и делает диктант по Пуцыковичу, а ученики сидят в страшной грязи на полу и пишут мелом на полу и на стенах».

В той же губернии «есть села, в школах которых с начала войны, уже 10 лет, не было ни одной девочки. Мы говорим о ликвидации безграмотности и очень много делаем для нее, затрачиваем на это силы и внимание, а у нас безграмотность растет. Безграмотность колоссальная. Она растет с каждым днем потому, что дети и подростки вырастают безграмотными».

«Карандаш стоит 10 фун. хлеба, букварь стоит 1 пуд хлеба, «История» Покровского — 3 пуда хлеба. Все это недоступно крестьянину...»

«Если бы не отдельные яркие исключения, — делает вывод Надежда Константиновна, — если бы не самоотверженность отдельных коммунистов, работников Политпросвета, не самоотверженность отдельных комсомольцев, не самоотверженность отдельных учителей, — мы погрузились бы в полнейший мрак».

Самоотверженность — вот единственно точное слово для описания борьбы за просвещение тех лет. Все было самоотверженностью: и учиться, и учить, и даже отношение молодого государства к образованию тоже было самоотверженностью. Как иначе сказать, если, например, в декабре 1919 года, всего лишь через месяц после того, как Деникин был разбит под Орлом и у Воронежа, издается «Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», которым предписывается:

«Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучиться грамоте на родном или русском языке, по желанию».

Новое слово вошло в русский язык; оно означало целую эпоху. Слово это было остро необходимо; оно честно отслужило свой век и умерло, когда стало не нужно. Это великое слово: рождение его было трагично, а смерть — прекрасна. Слово это — «ликбез», ликвидация безграмотности.

Меры были приняты экстраординарные. Рядом с декретом о ликбезе — «Декрет о мобилизации грамотных», способных к «ясному и толковому чтению вслух», — для ознакомления неграмотных с общим укладом революционной России:

19 июля 1920 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности — ВЧК л/б.

В 1923 году — добровольное общество «Долой неграмотность!» — ОДН.

Общество «Долой неграмотность» собирало деньги, выпускало буквари, специальный журнал «Долой неграмотность!». Журнал выходил два раза в месяц и помещал материалы для людей, только что научившихся читать. И еще газеты для них специальные: «В помощь учебе» и «Крестьянская газета для начинающих читать».

Курсы ликбеза были открыты даже в Кремле, в помещении арсенала. Там висели плакаты: «Явился новый человек, да здравствует коммуны век!», «Ты расправился с царем, так расправься с букварем!»

С осени 1922 года начали создавать рабфаки — рабочие факультеты.

Революция выдвинула лозунг: образование — для всех!

Но как на практике можно было осуществить эту мечту? Чтобы учиться в институте, надо иметь хорошую подготовку; дети рабочих и крестьян не могли ее иметь.

Сколько ни вывешивай плакатов о равенстве, сколько ни зови в институты детей бедняков, путь в аудитории был закрыт для них: они не имели достаточных знаний.

Рабфаки готовили в институты по ускоренной программе: в один-два года. Рабфаки требовали от юношей и девушек чрезмерного, невероятного напряжения, почти героизма (да и годы-то голодные!). Но отбою от желающих поступить на рабфак не было. Сколько ни открывали их, рабфаки не могли вместить всех. В 1928 году было отказано в приеме половине подавших заявления. А. В. Луначарский говорил на XV съезде партии:

— Товарищи, это трагическое время, время приема на рабфаки, когда наши города, в особенности Москва, буквально переполняются этими паломниками за знаниями, людьми в лаптях, людьми, кое-как одетыми, людьми голодающими, проводящими ночи на улице; они осаждают экзаменационные комиссии и все места, через которые можно пролезть на рабфак. Потом... происходят трагические сцены — слезы, угрозы самоубийства, заявления о том, что они не могут вернуться домой, и т. д. ...Что это такое? — продолжал Луначарский. — Это совсем не поверхностное явление, это действительно настоящая трагедия.

Страна расплачивалась за грехи царизма. Государство отказалось платить царские долги английским, бельгийским, французским капиталистам; они поносили за это Советскую власть на всех евро-

пейских углах и перекрестках. Но за грех безграмотности пришлось платить сполна — самоотверженностью, растратой жизней и здоровья, трагедиями тысяч людей, экономической отсталостью. В XX веке безграмотность стоит дороже, чем грамотность. Образование обходится в миллионы, необразованность — в миллиарды.

Коммунисты делали то, чего насмерть боялись все правительства, существовавшие в России до Октября 1917 года. Царизм боялся: если открыть школы для всех, то ведь все захотят учиться! А если выучить всех, то все будут требовать каких-то других, лучших условий жизни.

Советская власть бесстрашно открыла все границы: знание стало доступным, как воздух, точнее, каждый получил *право требовать* знаний (вот этого-то и боялись — права требовать!). Никакое другое правительство в мире не устояло бы перед этой лавиной желающих учиться. Нужно было огромное мужество, чтобы не растеряться, не испугаться, а, год за годом преодолевая разруху, привести к своему — к исполнению обещаний, данных в Октябре 1917 года.

Трагедия безграмотности и невозможности дать образование сразу и всем на самом деле была еще серьезнее, чем здесь описано, потому что безграмотность и бескультурье подрывали основы действий нового государства, отражались на самих этих действиях: во главе учреждений, в аппарате, на очень важных и менее важных постах стояли люди малообразованные, а других взять было негде. Получался заколдованный круг: страна страдала от бескультурья и это самое бескультурье сдерживало рост культуры и образования.

Ленин выступал на съезде политпросветов:

— У нас комиссия по ликвидации безграмотности создана 19 июля 1920 года... Мало того — Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности... Но уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, доказывает, что мы — люди (как бы выразиться помягче?) вроде того, как бы полудикие, потому что в стране, где не полудикие люди, там стыдно было бы создавать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, — там в школах ликвидируют безграмотность. Там есть школы сносные, — и в них учат.

Где же выход из «заколдованного круга»?

Вокруг кричали: нельзя было делать революцию в стране, где нет культуры! Она невозможна!

Ленин отвечал: но кто укажет тот уровень культуры, при котором революцию делать «можно»? И когда, какими страданиями будет этот уровень достигнут? Революция сама приведет народ к культуре...

«Мы можем (и должны), — писал Владимир Ильич, — начать строить социализм не из фантастического и не из специально нами созданного человеческого материала, а из того, который оставлен нам в наследство капитализмом».

Он без устали звал: учиться, учиться, учиться! Единственное, что нам нужно сейчас, — культура, образование, элементарная грамотность. Сердился на Луначарского за то, что тот слишком много занимался театрами и мало школами. В раздражении телефонировал ему: «Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте» (это уже совсем рассердившись: театры наши выжили в годы войны и разрухи именно благодаря Ленину, как и музеи, как и библиотеки).

«Мы — нищие люди и некультурные люди. Не беда. Было бы сознание того, что надо учиться. Была бы охота учиться» — это в предисловии к школьному учебному пособию по электрификации. А его предсмертные записки-завещания — все о культуре. О чем бы ни шла речь — о совершенствовании государственного аппарата, о рабоче-крестьянской инспекции, о кооперации в сельском хозяйстве, — все для Ленина упиралось в одно: в культуру, в образованность. Трудящиеся раздавили капитализм. «Но от раздавленного капитализма сыт не будешь, — иронизировал Ленин. — Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем».

Вот что оказалось труднее всего. Власть взяли, заводы, фабрики взяли, землю взяли; это было сделано в день и в год. Но взять культуру? Плоды тысячелетнего развития цивилизации? «Задача — громадной трудности, на которую, чтобы полностью решить ее, надо положить десятки лет!» — писал Ленин.

А без культуры все становилось нереальным: и власть, и заводы, и земля. Без культуры нельзя пользоваться властью, не могут работать заводы и перестанет плодоносить земля... Политик без культуры превращается в политикана, администратор — в бюрократа; где нет культуры, там процветает жестокость, там не ценят ни труда

людей, ни жизни их, там все бесчеловечно. Нет на свете ничего хуже, чем темная власть, темная сила.

Ленин хорошо понимал это. Он был одним из самых образованных людей своего времени и возглавлял самое культурное в мире правительство (по оценке западных специалистов, подсчитавших, сколько иностранных языков знают и сколько книг написали члены правительств крупнейших стран мира).

После того как Советское государство отстояло себя в гражданской войне, культурная революция была необходима: без нее нельзя было выжить.

Труднейшая, кропотливейшая работа!

Несмотря на массовый поход за ликбез, несмотря на мобилизации, на отчаянные усилия сотен тысяч «культурмейцев», с 1920 по 1926 год число грамотных 20—50-летних мужчин увеличилось на 8 процентов. Много это? Огромное число! Миллионы людей! А в целом? А в целом теперь грамотной была лишь половина всех людей до пятидесяти лет... Половина! И только грамотны. А от грамотности до образованности, понятно же, очень далекий путь. По инструкции к переписи 1926 года, умеющим читать считался тот, кто разобрал печатные слова хотя бы по слогам, а умеющим писать — те, кто мог подписывать свою фамилию.

Да еще вспомним, что если старшие учились грамоте, то снизу, с младших возрастов, подрастали новые неграмотные — из-за того, что школ было очень мало, и учителей мало, и хлеба мало, и одежды мало...

С конца 20-х годов за народное образование взялись еще крепче: появились наконец материальные возможности.

Миллион двести тысяч культурмейцев двинулись на неграмотность.

Общество «Долой неграмотность!» объединило пять миллионов человек.

С 1921 года сеть школ сокращалась. Потом стала расти; к 1925 году она была восстановлена.

Но шли годы, и натиск не прекращался, а все усиливался и усиливался.

И вот осенью 1933 года свершилось: впервые в истории России практически все дети 8—12 лет пошли в школу.

Все! И в бескрайней Российской Федерации, и в среднеазиатских

республиках, и в Закавказье. К этому времени 48 народов России, вообще не имевших письменности, получили ее (огромного объема *научная работа!*). Даже по одной этой причине, если бы и не было войны и разрухи, всеобщее обязательное образование вряд ли могло быть введено раньше, ибо невозможно обучать человека грамоте, которой не существует в природе... Нужно было сначала эту грамоту создать.

Вот судьба первого поколения XX века, людей рождения 1900—1910 годов.

Если бы не было революции, среди них было бы 23, ну, 50 процентов грамотных.

На самом деле в 1926 году среди них было 78 процентов грамотных. В 1939 году — 93 процента! В 1959 году — 98,5 процента!

Позор XX века — неграмотность — был ликвидирован в нашей стране экстраординарными методами. Свершилось то, о чем мечтал Ленин: чтобы ликвидировали комиссии по ликвидации неграмотности. Слово «ликбез» умерло.

Уже перед войной все дети в Советском Союзе в обязательном порядке учились в начальной школе.

С 1949 года все *обязаны* учиться семь лет (до революции об этом и речи не было).

С 1959 года все *обязаны* учиться восемь лет.

А к 1975 году наша страна должна завершить переход ко всеобщему среднему образованию.

Но еще больше волнует другое: *чему* учатся дети? *Как* учатся? И как *воспитывают* детей в школе?

Проблемы эти возникли с первых же дней после революции. И даже раньше — еще тогда, когда революция назревала. На II съезде Всероссийского союза учителей в 1906 году один из делегатов говорил коллегам:

— Освободительное движение — я верю! — победит, и тогда нас спросят: чем же вы, так мало участвовавшие в достижении политической и социальной свободы, обеспечите ее прочность в будущем? Мы должны ответить — новой школой. Она будет оплотом свободы.

Освободительное движение победило. Какой же будет «новая школа»? Что такое «новая школа»? Насколько она «новее» старой?

Сначала — и еще долгие годы! — всем казалось, что новая школа должна во всем — и по духу, и по содержанию, и по форме —

решительно отличаться от старой школы. Все старое было ненавистно, отвратительно, все казалось враждебным и контрреволюционным.

Новая школа строилась как антигимназия: все наоборот.

Что там было, в старой гимназии?

Отметки? Долой отметки!

Программы? Долой программы!

Правило вставать при входе учителя? Долой это правило, не будем вставать!

Правило ходить на уроки? Долой! Хотим — будем ходить, не хотим — не будем.

Свобода!

«...Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос: заниматься или не заниматься? Лохматый пестовец, которому все кричали: «Браво, Кавычка!» — доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а отметки выставлять большинством голосов.

— Браво, Кавычка!

— Правильно!

— И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроки приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайка не давать.

— Правильно!

— Дурак!

— Долой!

— Браво!»

Такой митинг описан в «Двух капитанах» В. Каверина. 1919 год. Москва. «Пестовец» — ученик гимназии Пестова, бывшей гимназии...

Можно вспомнить и «Швамбранию» Льва Кассиля:

« — Постойте же, ребята! — сказал комиссар.

— Мы не жеребята! — крикнул зал.

— Товарищи! — сказал комиссар.

— Мы тебе не товарищи! — издевался зал.

— Как же вас изволите величать? — рассердился комиссар.

— Троглодиты! — хором отвечал зал».

И в общем-то, если бы так продолжалось еще несколько лет, выпускники тогдашних школ по уровню знаний и вправду мало чем стали бы отличаться от троглодитов...

Быть может, Ленин был единственным в те времена, кто призывал: «... мы должны взять то хорошее, что было в старой школе».

Это было сказано в 1920 году в речи на III съезде комсомола, очень поразившей тогда тех, кто ее слушал. Призыв «учиться» казался парням в красноармейских шинелях по крайней мере несвоевременным, а уж взять хорошее из старой школы?.. Это было и вовсе не понятно. Что хорошего могло быть в старой школе, кроме ненавистной зубрежки?

В то время существовало много различных концепций «новой», «свободной» школы, много «прогрессивных» теорий обучения.

И не только у нас — во всем мире.

Быть может, никто не оказал такого влияния на западную педагогику XX века, как американец Джон Дьюи.

Джон Дьюи, профессор Колумбийского университета, жил очень долго, почти сто лет, с 1859 по 1952 год. В канун нынешнего века он опубликовал небольшое сочинение «Мое педагогическое кредо» (1897 год) и высказал новый взгляд на обучение и воспитание.

Многие педагогические идеи Дьюи долгое время оказывали влияние на педагогику, в том числе и советскую, потому что это были *современные* идеи. Как бы мы ни были благодарны Коменскому, Руссо, Песталоцци, Герbartу, Дистервегу (если говорить лишь о западных педагогах), все же в XX веке нельзя учить так же, как это предлагалось в XVII, XVIII или XIX.

— Что такое воспитание? — спрашивал Дьюи и отвечал в несколько торжественной манере: — Я считаю, что воспитание — «это процесс жизни, а не подготовка к будущей жизни».

Мысль не новая, ее сто раз повторяли до Дьюи, но каждый раз, когда дело доходит до практики, до организации школьной жизни, ее забывают: будущие цели оказываются важнее сегодняшних забот. На самом деле и Дьюи был не совсем прав: незачем презирать подготовку к будущей жизни — готовиться-то действительно надо. Но нельзя, нельзя, нельзя забывать, что ребенок *живет* и тогда, когда он только учится жить, и чем полнее он живет, тем лучше приготовится он к будущей, взрослой своей деятельности.

Дьюи не нравилась современная школа, он критиковал ее и переступал в этой критике разумные пределы. Учителя считают, писал он, что школа — «это место, где дают информацию ученикам». Ничего подобного! Школа — часть жизненного опыта ребенка; «учи-

тель в школе не для того, чтобы внедрить некоторые идеи или сформировать некоторые привычки у детей, — он член коллектива», который помогает детям в отношениях друг с другом, в выборе занятий, помогает им развить то, что в них заложено.

Тут мы подходим к самой главной мысли Дьюи: «Прогресс школьника не в успехах в изучении наук, а в развитии новых отношений, интересов, обогащении опыта».

Если огрубить это положение, упростить его, то вот какой выбор перед нами: знания или развитие?

Должна школа давать *знания*?

Или она должна *развивать* ученика — его интересы, жизненный опыт, способности (в том числе и способность учиться)?

Мы сейчас сказали бы: зачем же противопоставлять? Пусть школа дает знания *и тем самым* развивает ученика...

Но это легче сказать, чем сделать. Проблема обучения и развития, их связи и взаимовлияния, пожалуй, самая сложная проблема педагогики, не решенная до сих пор.

Сторонники Дьюи стояли на том, что ученик все должен познавать своим опытом, учить лишь то, что ему, ученику, сегодня кажется *полезным*. Если он видит, что такое-то знание сегодня может ему пригодиться, если оно практично, ему будет интересно на уроке и он возьмет это знание без труда.

Американская школа пошла в основном за Дьюи. Было создано много разных способов обучения, так или иначе опиравшихся на взгляды этого педагога. И в нашей стране в 20-е годы все эти методы применялись.

В. Каверин в «Двух капитанах» весело описывает «комплексный» метод обучения:

«Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка: какие у нее крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живет и где ее нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «у-т-к-а» и читала что-нибудь об утках из Брема. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки «утка» так-то, а по-французски так-то. Кажется, это называлось тогда «комплексным методом». В общем, все вышло «мимоходом».

Был еще «метод проектов», был «бригадный метод»: уроки давали не каждому в отдельности, а на бригаду. Был метод, который назывался «Дальтон-план» (его очень поддерживала Н. К. Крупская). Учитель составлял вместе с учеником индивидуальный план его занятий на семестр или на месяц, а потом ученик сам занимался, пользуясь консультациями учителя.

Как оценить эти методы? В них было много хорошего по замыслу, но на практике они оказывались прожектерством, оборачивались неудачей, приводили лишь к тому, что школа переставала давать знания, разрушалась. Поэтому все подобные методы были запрещены в нашей стране в начале 30-х годов. Школа опять стала школой: урок в классе, задание на дом, сочинение, контрольная, отметка, твердая программа, твердый, «стабильный», как говорят, учебник. Опытам и проектам был положен конец: школа должна давать знания, прежде всего знания! Твердые, прочные, основательные; тот, кто окончит школу, должен быть способным учиться в высшем учебном заведении.

Школа живет, меняется ее возраст, меняются требования к ней. То, что завоевано ею, — то завоевано, этого не отнимешь, но впереди опять трудности, и в каком-то смысле опять приходится начинать «все сначала»: у истории нет привилегированных точек, всякий ее отрезок равноправен в сравнении с другими периодами, и если мы сегодня можем учитывать опыт педагогов прежних лет, то это вовсе не значит, что нам «легче», чем было им. Граница знаний о школе, о том, как учить детей, продвинулась трудами многих замечательных людей далеко вперед, но все равно перед нами неосвоенное пространство.

И вновь, как и всегда, от учителей требуется и ежедневная борьба, и мужество, и талантливость.

Всеобщее обязательное обучение стало не просто явью — стало привычным, само собою разумеющимся, чем-то таким, о чем и разговаривать долго не стоит: не говорим же мы о том, что всех детей кормят или одевают? Хотя поддерживается оно постоянным тяжелым трудом очень многих людей, все еще есть дети, которые почему-либо не ходят в школу, бросают ее, не доучившись; сельским ребятишкам подчас бывает очень трудно добраться до школы — длинна дорога, а интернатов не хватает или они неблагоустроены. Всеобщее образование можно ввести, но после издания соответствующего закона приходится ежедневно добиваться, чтобы он выполнялся. Чуть ослабили

усилия — и вот уже опять неграмотные, недоучившиеся: дети подрастают каждый год...

В начале века, вспомним, Россия занимала по уровню образованности последнее место в Европе. Теперь, по данным 1965—1967 гг., нашу страну нет смысла сравнивать ни с одной страной в Европе: на каждые 100 человек населения у нас учеников в общеобразовательных школах и средних учебных заведениях больше, чем в любой другой европейской стране.

А в мире? Выберем из соответствующей таблицы страны с самым высоким процентом учащихся ко всему населению:

Канада	— 25 процентов (5 млн. учащихся)
СССР	— 23 процента (55,2 млн. учащихся)
США	— 23 процента (45,5 млн. учащихся)
Австралия	— 23 процента (2,6 млн. учащихся)
Япония	— 22 процента (21,9 млн. учащихся).

Но уже мы все недовольны — и правильно недовольны! — тем, что не каждый, кто хотел бы получить высшее образование, может его сегодня получить (хотя по числу студентов на 10 тыс. человек населения мы на втором месте в мире после США). И тысячи людей, которые пятьдесят лет назад не могли бы рассчитывать на то, что их обучат элементарной грамоте, сегодня огорчены из-за отказов принять их в *аспирантуру*.

Тяга к образованию ненасытна.

Все, чем человек может (хотя бы теоретически может) насытиться, все, что имеет предел насыщения, принижает человека. Но все, что не имеет предела, возвышает, ибо только это, беспредельное, точно соответствует беспредельности, безмерности человеческой природы.



Надежда Константиновна Крив-
ская говорила тихим, мягким
голосом, но он был слышен во всех
школах страны.

Глава Семнадцатая



нимательный читатель, очевидно, заметил, что в галерее педагогов, представленных в книге, есть одно несоответствие. В жизни каждый из нас чаще встречает педагогов-женщин, а тут всё мужчины да мужчины...

Оправдаться не трудно: до известной поры и невозможно было бы говорить о женщине-педагоге. Женщина вошла в класс, к учительскому столу, совсем недавно. Ушинскому приходилось доказывать: «Нет причин, почему бы женщина могла отстать от мужчины в науке и в способности преподавания». Но редакция журнала, поместившего его статью, сделала примечание к этим строчкам: «По нашему мнению, такая ученая женщина перестает быть женщиной. Достоинство педагогических способностей женщины есть также пока спорный предмет».

Однако уже в конце 70-х годов десятилетняя девочка сидела в классе, слушала учительницу и рисовала домики с вывеской «Школа», мечтала о том, как она вырастет и тоже будет сельской учительницей. Эту девочку звали Надей Крупской. О том, что она станет во главе народного просвещения целой России, да еще Советской России, она думать не могла. Но если теперь, задним числом, просмотреть год за годом жизнь Надежды Константиновны до революции, то окажется, что она готовилась к предназначенной ей роли самым серьезным образом.

Бывают характеры броские: их легко описывать. Две-три выдающиеся черты, два-три драматических эпизода из жизни — и читатель может представить себе человека. В Надежде Константиновне ничего броского нет. Она вся — ровность, сдержанность, скромность, определенность. Даже искания ее, почти обязательные в молодости каждого талантливого человека, были не блужданиями, а стремлением

к цели. быть может и неосознанной поначалу, но предчувствуемой.

Отец Надежды Константиновны, сначала офицер, потом чиновник, потом юрисконсульт, был, по всей видимости, человеком чрезвычайно пылким и до крайности честным. Сохранилось письмо его к командиру полка с просьбой перевести служить из Польши в родные края, в Казанскую губернию. Это официальный документ, но вот каким языком пишет прошение Константин Игнатьевич:

«От подобных обстоятельств жизни какая-то невыносимая тоска давит душу — весь организм мой, а желание служить на родной земле день ото дня сильнее овладевает моими чувствами — парализует все мои мысли».

Видимо, «какая-то невыносимая тоска» — явление, так знакомое честным людям в России того времени, — всю жизнь гнала, давила Константина Игнатьевича; всю жизнь искал он связи с людьми, старавшимися что-то сделать для своей страны, — с народниками, с русской секцией I Интернационала. Всю жизнь находился под подозрением начальства, был увольняем «без объяснения причин», был отдан под суд — и оправдан после шестилетнего процесса. Потрясающая деталь, промелькнувшая в одном из воспоминаний: о предполагаемом 1 марта 1881 года убийстве царя Константин Игнатьевич знал заранее! А позже его двенадцатилетняя дочь смотрела из окна гимназического класса на четвертом этаже, как цареубийцу Софью Перовскую с товарищами, в черных халатах и черных высоких клобуках, везли на казнь на Семеновский плац.

Человек, неудачливый не из-за бесталанности своей, а именно из-за того, что он знал и видел больше, чем его сослуживцы, Константин Игнатьевич умер очень молодым, оставив жену и дочь почти без средств для существования. Дочь училась в то время в частной гимназии А. А. Оболенской. Это была хорошая гимназия. Там были первоклассные учителя, и среди них, например, Елизавета Федоровна Литвинова — первая в России женщина, которой дозволено было преподавать математику в старших классах гимназии.

Надежда Константиновна писала позже: «Никто на нас не кричал, дети держали себя свободно, были дружны между собой, и я со многими подружилась. Учиться было очень интересно. Я до сих пор вспоминаю эту гимназию с добрым чувством: она дала мне много знаний, умение работать, сделала меня общественным человеком».

Вот, между прочим, короткая и прекрасная программа для любой школы: она должна давать много знаний, умение работать и делать своих учеников общественными людьми.

Жизнь у Надежды Константиновны была в это время трудная, бедная. Ей приходилось зарабатывать репетиторством. Одноклассница, с которой (за плату) занималась Надежда Константиновна, получила при выпуске золотую медаль. Ее наставница, Надежда Крупская, тоже получила золотую медаль. Окончив гимназию, Крупская не покинула ее. Она осталась учиться еще на год в педагогическом классе: она по-прежнему хотела стать учительницей, возможно, под влиянием матери — Елизавета Васильевна до замужества была гувернанткой в помещицкой семье.

Чего искала в жизни тихая, флегматичная на вид девушка? Какой огонь жег ее? Это можно понять из одного письма Крупской. Восемнадцатилетняя Надежда Крупская решается на смелый поступок: пишет самому Льву Толстому. Интонации ее письма заставляют вспомнить строчки Константина Игнатьевича, приводившиеся выше: дочери передалось душевное смятение отца, недовольство собою, стремление жить честно.

«Многоуважаемый Лев Николаевич! — писала Н. Крупская. — ...Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немного заглядить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием, — и того я не умею, не знаю, за что для этого надо взяться...»

Обратим внимание: здесь нет самобичевания, наоборот — спокойная уверенность в себе, в своих знаниях, в своих возможностях быть полезной.

По просьбе Крупской Л. Н. Толстой выслал ей книжку: чтобы она сверила перевод, исправила его для дешевого народного издания. Это был «Граф Монте-Кристо». Надежда Константиновна выполнила эту работу: она изучала много языков (немецкий, французский, английский, польский, еврейский). Но, конечно, не такого дела она искала, не то ей было нужно.

Проходит несколько лет, и Надежда Константиновна переступает порог воскресной школы для взрослых в селе Смоленском на Шлисельбургском тракте. «...Юная девушка в простом черном платье, со скрещенными на груди руками, с глубоким, целеустремленным взглядом светлых, чуть косо поставленных глаз...» — такую запомнила Крупскую художница Т. Жирмунская. Школа была серьезным учебным заведением: по воскресеньям и дважды в неделю по вечерам сюда приходили на занятия до тысячи рабочих. Надежда Константиновна была очень молода; ей поначалу доверили лишь класс начинающих: обучать грамоте. «Выучи грамоте — подарю на сарафан», — написал учительнице Надежде Константиновне один из ее учеников, рабочий Карасев. Преподавать было трудно. Послушно рассказав урок о шарообразности Земли, кто-нибудь из учеников мог потом заявить: «Только я этому не верю... Это господа нам, рабочим, голову морочат, — станут они нам правду говорить».

Не смешные слова: в них была чутьем уловленная истина. Конечно, в вопросах о шарообразности Земли обмана не было. Но кто в то время, какие «господа» знали правду о положении рабочих и, главное, о том, как это положение на деле изменить? Эту правду, прежде чем принести ее рабочим, надо было самой узнать, самой в сомнениях выстрадать, отыскать.

Крупская идет в кружки марксистов — слушать, спорить, думать. Читает Марксов «Капитал». Потрясена. До двадцати лет она, как и ее мать, верила в бога. «Капитал» разрушает веру и надежду на бога. Нужны реальные действия, реальная борьба, надо искать — или создавать — реальные силы, которые найдут необходимую людям правду и построят жизнь по этой правде.

Так для Крупской с первых дней ее работы слились в одно понятие «школа» и «революция».

Она оказалась перед выбором. Занятия в школе, частные уроки (основное средство к жизни) и посещение политических тайных кружков несовместимы — не хватает времени. После колебаний Крупская отказалась от уроков. Остались занятия в школе и кружки. И там, в одном из таких кружков, в доме 99/33 по Большеохтинскому проспекту, на масленице 1894 года молодая учительница встретила человека, о котором в те месяцы много говорили в потаенном Петербурге: приехал-де из Самары молодой юрист, очень образованный, марксистскую литературу знает наизубок, великолепный оратор,

серьезный, пылкий, непримиримый... Владимир Ульянов, младший брат повешенного царем Александра Ульянова.

Хозяину квартиры, где произошла встреча, инженеру Роберту Классону, было 26, Надежде Крупской — 25, Владимиру Ульянову — 24. Молодые люди, начало жизни, но какое трудное начало!

Они познакомились. Понравились друг другу. Они читали одни и те же книги. Думали об одном. Надежда Константиновна жила школой. Владимир Ильич вырос в доме учителя, где все жило школой. Он приходил на занятия к Крупской, «усердно читал сочинения и стихи» ее учеников; они становились его учениками. Крупская преподавала им в школе то, что разрешено было преподавать; Ульянов преподавал им в тайном кружке то, чего преподавать открыто было нельзя. Кончилось тем, чем не могло не кончиться: арестовали и посадили в тюрьму сначала Ульянова, позже Крупскую. Пока она была еще на свободе, Владимир Ильич в письмах из камеры спрашивал книгу про какую-то «минога». Тюремщики могли удивляться странным интересам юриста; друзья же знали, что «минога» — это кличка учительницы из Смоленской школы, Надежды Крупской. Один из друзей Владимира Ильича, Г. М. Кржижановский (тоже, как и Классон, инженер), называл Крупскую Галилеем — наверно, за мудрость и непоколебимость. «А ну-ка, Галилей, что ты мне по этому поводу скажешь?» — обращался он к Надежде Константиновне, как к арбитру в спорах.

А прокурор, заканчивая допрос учительницы, процитировал Некрасова:

— Однако я вижу, что в вас «под маской наружного холода бесконечная скрыта любовь...» — Прокурор сделал эффектную паузу и продолжил: — ...к революционному делу. Любовь к революционному делу.

Ленина сослали в Красноярский край, в село Шушенское. Он звал Крупскую к себе. Писал, что любит, просил стать его женой.

«Ну что ж, женой так женой», — отвечала Надежда Константиновна.

Все, кто знал ее в те годы, пишут о ней, не сговариваясь: «На вид флегматичная», «На вид скромная, на первый взгляд незаметная». Но прокурор был прав: «под маской наружного холода бесконечная скрыта любовь», и не только к революции. Георгий Максимилианович Кржижановский (тот, что прозвал Крупскую Галилеем)

писал потом о жене Ленина, — в этих его словах чувствуется инженер, человек точного знания и точно выраженной мысли: «Трудно было бы найти друга, который давал бы такой минимум осложнений в жизни и такой максимум крепкой поддержки».

Женой так женой.

Надежда Константиновна с матерью стали собираться в далекое путешествие к сосланному Ильичу, «Старику» — так звали в подполье Ленина.

Денег на дорогу не было.

Разрешения от полиции не было.

Разрешение дали лишь на том условии, что молодые немедленно по приезде Крупской обвенчаются.

Деньги достала мама, Елизавета Васильевна. Когда умер Константин Игнатьевич и его похоронили, Елизавета Васильевна купила место на кладбище рядом с могилой мужа, чтобы после ее смерти им лежать рядом. Теперь она продала эту будущую свою могилу, как бы предчувствуя, что все равно не быть ей похороненной на русской земле (Елизавета Васильевна умерла в 1915 году в эмиграции и похоронена в Швейцарии). За место на кладбище дали почти 100 рублей — большую по тем временам сумму, вполне достаточную даже для такого трудного переезда.

10 июня 1898 года состоялась свадьба. Рабочий-финн Оскар Александрович Энгберг, сосланный в Шушенское за участие в стачке, смастерил для молодых два медных колечка. Надежда Константиновна всю жизнь хранила их.

Как описать ту необычную жизнь, которая началась с этого дня? Ссылка, эмиграция, возвращение домой (где был дом Ульяновых?). В России Крупская жила по подложному паспорту. Выписывал его не очень серьезный человек; он придумал Крупской такое имя: Прасковья Евгеньевна Онегина. С таким паспортом «дочь» Евгения Онегина могла легко попасться. Но все обошлось: паспорт и не понадобился. Революция 1905 года была разгромлена, приходилось возвращаться в эмиграцию.

Крупская была жена: вела вместе с матерью хозяйство, «обед варила, и на рынок ходила, и старалась купить продукты поэкономней» (это она сама о себе).

Крупская была партийный работник. Каждый месяц она по поручению Ленина отсылала в Россию до трехсот писем. Десять писем

в день — не так уж много? Но каждое надо было написать, потом зашифровать, потом написать какое-нибудь «внешнее», безобидного содержания письмо и затем особыми чернилами внести между строк «внешнего» шифровку. А письма — не две строчки, а длинные, на многих страницах. Кропотливая, утомительная работа, требовавшая огромного внимания и ответственности: всякая небрежность могла привести к гибели адресата.

И наконец, но это самое важное — Крупская была партийный публицист.

Первая ее книга называлась «Женщина — работница». В ней, между прочим, есть такое место:

«Как будет поставлено дело воспитания при социалистическом строе?.. Самое трудное время — это период воспитания детей в дошкольном возрасте». И дальше Надежда Константиновна описывает удивительные, неслыханные учреждения: «так называемые «детские сады»: «Смех и детский говор оглашают дом и сад... Дети поделены на группы, и каждая группа занята своим делом... Учительницы умеют занять и трех-четырёхлетних малышей, вовремя накормить их, уложить спать. На полу расстилаются широкие тюфяки, и детвора лежит рядком, прикрываясь одним общим одеялом».

Крупская посещает школы, читает педагогическую литературу. Думает: какой же будет школа после революции, какой должна быть? Вот какой: чтобы ее ученики, вырастая, становились такими людьми, которые «были бы и сами счастливы, и всюду несли с собой бодрость, знание, любовь к труду».

Всегда было: сидели где-нибудь в глуши чудаки, писали проекты реформ и посылали их министрам или царям. Крупская к таким чудакам не относится. Она, как и ее муж, была уверена, что революция неизбежна и близка. Что с того, что Россию, кажется, и века не сдвинут с места? Что лучшие из лучших ее людей рассеяны по ссылкам и тюрьмам, заброшены в эмиграцию? Что в реальной русской школьной политике довольно мрачные времена? Крупская пишет о школе будущего, но это не мечта, не утопия и даже не проект реформ, а спокойная, *практическая* работа: завтра ее школа станет явью.

Одну из работ 1911 года (кто мог предсказать, что всего шесть лет отделяют это время от Октябрьских дней?) Надежда Константиновна заканчивает так:

«Тот, кто прочтет эти беглые заметки, скажет, может быть: все это праздная болтовня, благие пожелания, утопия. Конечно, при существующих условиях свободная трудовая школа может существовать лишь как исключение. Пусть так, что же из этого? Настанет время, когда будет возможность создать такую школу, какая нужна подрастающему поколению. И надо будет уметь ее создать, а для этого нужен опыт, нужно, чтобы мысль заранее работала в этом направлении, чтобы ясно было, как браться за дело».

Мысль работала, опыт накапливался, и, когда пришла революция, у большевиков, взявших власть, была определенная программа в области народного образования. Крупская не стала народным комиссаром, она занимала относительно скромные должности, но она была *вдохновительницей* всей работы Наркомпроса. Анатолий Васильевич Луначарский писал потом, вспоминая самые трудные дни: «Конечно, многое в первое время было убого, робко, но в то же время это были дни колоссального по своей широте творческого размаха, возможного только благодаря подготовленности и твердости педагогической мысли вдохновительницы Наркомпроса Н. К. Крупской».

Педагогическая подготовленность... Незадолго до революции Крупская закончила большую работу «Народное образование и демократия». Для этой книги она составила 27 тетрадей конспектов на трех языках. Это был, по существу, обзор всей известной педагогической литературы (Руссо, Песталоцци, Оуэн), сделанный с совершенно новой точки зрения: с точки зрения теории Карла Маркса. И в этом состоит главное значение Н. К. Крупской для мировой педагогики. До нее никто не мог бы так определенно сказать, в чем же заключается марксистский подход к образованию.

Это был серьезнейший научный вклад в педагогику, и видный историк М. Н. Покровский писал, что Н. К. Крупская занимает «одно из самых выдающихся мест... в истории педагогической мысли всего мира».

Что же было главным для Крупской? Чем отличается марксистское представление о школе от прежних представлений?

Крупская видела советскую школу прежде всего трудовой, политехнической.

Ребята изучают в школе, как трудятся люди. Получают такие знания, которые помогут им в будущем трудиться в любой из многих областей народного хозяйства.

Они будут подготовлены *ко многим* видам технической деятельности.

И пока ребята учатся, они обязательно должны быть заняты коллективным производительным трудом, создавать какие-то реальные ценности, а не просто работать у станков. Крупская, вслед за социалистами-утопистами, вслед за Марксом, придавала этому очень большое значение. Она считала производительный труд в коллективе необходимым условием правильного воспитания детей.

Все это сложные вопросы. Труд — хорошо. Но какой? В какой форме? Как его организовать, чтобы он действительно воспитывал хороших людей?

И чему должны учить в новой, советской школе?

И как учить?

И кто будет учить?

И по каким учебникам?

Всем этим занималась Надежда Константиновна.

Она работала невероятно много, нечеловечески много. На одном из совещаний в 1918 году она тихо попросила помощницу:

— Наташа, выведите меня, я потеряла зрение.

Оказалось, полная слепота. От общего истощения организма. К счастью, через полтора часа зрение вернулось.

Когда умер Владимир Ильич, Крупская после похорон лишь два дня оставалась дома. Потом вышла на работу.

В 1922 году Крупская, кроме других дел, стала еще редактировать журнал «На путях к новой школе». В каждом номере журнала появлялись одна или две статьи Надежды Константиновны да еще четыре-пять рецензий: она просматривала всю педагогическую литературу, вышедшую в нашей стране и за рубежом, и всякую интересную книгу тут же и рецензировала, обращала на нее внимание. И так всю жизнь. Ежедневно Надежда Константиновна вставляла в пять-шесть часов утра и до того времени, когда надо было идти на работу в Наркомпрос, писала статьи, просматривала чужие рукописи и писала на них отзывы, готовилась к выступлениям. Это у нее называлось «учить уроки». С утра все «уроки» были сделаны.

Крупская была точна и аккуратна во всех своих делах. Регулярно подводила итог: что сделано за месяц, за год. Вот данные за январь 1939 года — за месяц до смерти Надежды Константиновны: статей — 20, выступлений — 16, писем — 240.

За весь 1938 год: статей — 112, выступлений — 172, писем — 2500.

Пожалуй, только журналист оценит эти цифры, поймет, что значит писать 20 статей в месяц, 100 — в год. Да сейчас, кажется, нет ни одного журналиста, который столько бы писал (а ведь Крупская еще и выступала через день, и работала в Наркомпросе, руководила всем политическим просвещением в стране, редактировала журнал, руководила Обществом педагогов-марксистов).

Можно было бы сказать — трудолюбие, но «трудолюбие» — слабое слово для определения такой жизни. «Уйма работешки!» — только и приговаривала Надежда Константиновна, вздыхая, и в этом ласковом «работешка» виден весь человек. Еще одно любимое ее выражение — «толчея непротолченная». Это не про людей, про дела: дела толпились, ждали очереди, проталкивались к ней, всем нужна была эта старая немногословная женщина с тихим голосом, добрым сердцем и ясным разумом.

Есть такой метод: создается «словесный» портрет человека по самым отрывочным воспоминаниям разных людей. Составим такой портрет из множества опубликованных рассказов о Надежде Константиновне.

...Из кабинета вышла женщина в длинном черном платье. Несколько выпуклые глаза ее смотрели на нас ласково, внимательно.

Говорила она медленно, обдумывая каждое слово.

Милое умное лицо... Вдумчивый теплый взгляд, мягкая манера обращения, необычайная простота в одежде — серый сарафан, серенькая в полоску батистовая кофточка. Почти поминутно она отбрасывала прядь волос, которая то и дело падала ей на правое ухо и глаз.

Все в ней было привлекательно: спокойное, немного грустное лицо, седые, завязанные сзади узелком волосы, прядками спадающие у висков...

Она сидела, подперев голову рукой, устремив внимательный взгляд на выступавшего. На руке — простые часы, надетые так, что циферблат находился с внутренней стороны руки. Видимо, так ей было удобнее смотреть время. Тогда уже входили в обиход роговые очки, но Надежда Константиновна предпочитала стальную оправу.

Говорила она так тихо, что, несмотря на абсолютную тишину, во-

царившуюся в зале, люди, желая лучше слышать каждое ее слово, напряженно вытягивали шею и прикладывали руки к ушам.

Голос у нее тихий, приятный. Ни разу она не повышает его, не жестикулирует, не заглядывает в конспект.

Она была со всеми ровна и спокойна, тем особым, к сожалению, редким для многих спокойствием, которым обладают только люди большой культуры и сильной воли.

Воспоминание художницы, рисовавшей Крупскую: взглянув на рисунок, Надежда Константиновна «с застенчивой улыбкой сказала:

— Трёпа я, трёпа...»

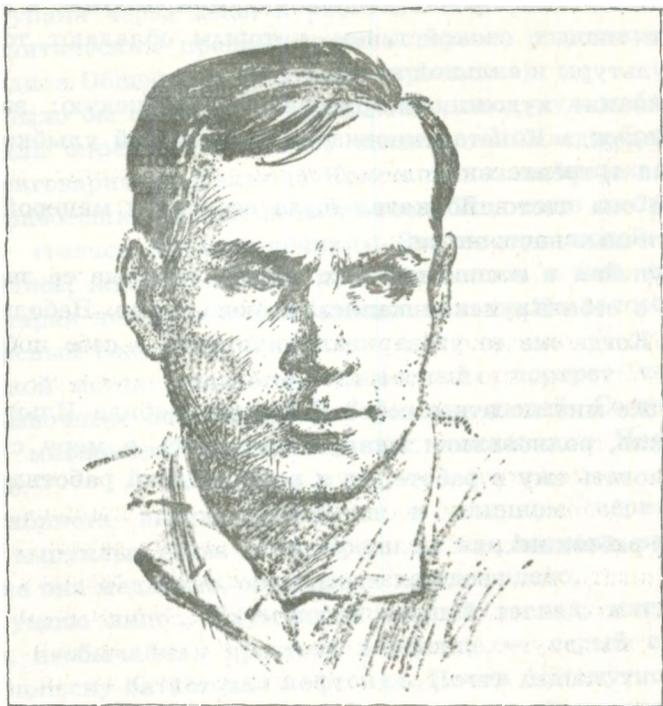
Ворчала она часто. Воркотня была ее особой манерой выражать самые различные настроения.

Это Крупская в воспоминаниях людей, которые ее знали.

А сама о себе Крупская написала очень мало. Небольшой очерк для детей. Когда же ее уговаривали написать о себе побольше, она отвечала:

«И что же мне писать о себе? Я крепко любила Ильича; то, что его волновало, волновало и меня, я старалась в меру своих сил и умения помогать ему в работе, но я ведь рядовой работник. Чего тут писать?»

Рядовой работник!..



Павел Петрович Блонский видел в школе лабораторию, а в школьнике - мир для открытий.

Глава восемнадцатая



педагогика одновременно и искусство, мастерство, и сложная наука. И, как у всякой науки, у нее есть свои основания.

Например, перед нами поставлена задача: обучить мальчика (или сорок мальчиков и девочек) математике в пределах, установленных школьной программой. Допустим, что мы сами математику знаем хорошо.

Как приступить к делу?

У нас есть три возможности.

Первая возможность — первый шаг. Мы просто приходим в класс и, сообразуясь со здравым смыслом, начинаем объяснять ребятам, скажем, четыре правила арифметики, давать им упражнения, спрашивать их, вызывать к доске, ставить отметки и т. д.

Каждый, кто знает математику, может, в общем-то, обучать математике любых других людей. Один — более успешно, другой — менее; одних людей быстрее научишь, с другими придется повозиться.

Кто-то из класса выучится, а кто-то нет.

Но есть вторая возможность — сделаем второй шаг. Прежде чем начать учить, углубимся в специальные книги по дидактике и методике. Там, в этих книгах, мы узнаем, в каком порядке выгоднее расположить материал, какими доказательствами пользоваться, как построить урок и как сделать, чтобы ребята не просто выучивали четыре правила, но еще и развивались при этом.

Теперь, если у нас еще к тому же способности к преподаванию, мы успешно выучим гораздо большее число из наших сорока ребят, выучим их лучше, меньше будем мучить их во время учения. Мы даже можем сделать так, что учение будет им в охоту.

Но откуда берутся все эти правила, методы, приемы?

И тут перед нами открывается третья возможность — сделаем третий шаг.

Мы учим ребят. Ребята постигают основы наук. Но по каким законам происходит это постижение? Как протекает мышление ребенка? Что происходит в его голове, когда он запоминает правило? Что такое внимание? Что делает ребенок, когда он в уме решает пример?

На все эти вопросы отвечает специальная наука — психология. Если педагог не знает ее, он работает вслепую или по подсказке других опытных и ученых педагогов. Он применяет некоторые правила, но не знает, почему он применяет их, откуда эти правила взялись и насколько они действенны.

Психология не отвечает на вопрос «Как лучше учить?». Это дело педагогики. Психология — среди других ее проблем — лишь исследует, как человек учится, как и в зависимости от чего изменяется его мышление, как развиваются его чувства, характер, из чего складывается его личность, каково происхождение его способностей и как они изменяются с годами.

Есть еще одна наука, необходимая педагогу, — физиология. Это наука о человеческом организме, его устройстве, его изменениях.

Эти две науки — две первые помощницы педагогики. Без психологии и физиологии современная педагогика не могла бы существовать.

Но, вообще-то говоря, у педагогики есть еще более широкое основание, еще более прочный фундамент: философия, логика, социология, этика, эстетика... А главный источник педагогических идей — опыт. Народный опыт воспитания детей в семьях, многовековой опыт обучения и воспитания детей в школе.

Можно быть педагогом, сделавшим только первый шаг: изучив свой предмет. Это минимум. Не зная предмета, никого ничему не научишь.

Лучше быть педагогом, сделавшим второй шаг: изучив специальную педагогическую науку, теорию обучения и воспитания детей.

Но только тот педагог в самом истинном смысле слова, кто сделал и третий шаг: кто добыл очень серьезное образование, кто внимательно изучил педагогический опыт народа и школы, кто хорошо знает психологию, физиологию, философию, социологию, логику.

Первым из таких широкообразованных педагогов был в наше вре-

мя Павел Петрович Блонский, хотя именно ему принадлежат следующие иронические строчки:

«До конца университета я педагогикой совершенно не интересовался, нигде ей не учился и ничего по ней не читал... Откровенно сознаться, я и сейчас считаю педагогическую литературу самой скучной в мире» — так Блонский начинает автобиографию. А называется автобиография «Как я стал педагогом»...

Если имена, упоминавшиеся в этой книге, наверное почти все были известны читателю и раньше, то имя Блонского, возможно, встречается чуть ли не впервые. До недавнего времени труды Блонского не переиздавали, и нам даже трудно представить себе, как был знаменит — и заслуженно знаменит! — этот педагог сразу после революции, в 20-е годы, и в начале 30-х. Книги П. П. Блонского выходили каждый год. По крайней мере одну из них — «Трудовая школа» — внимательно читал и подчеркивал Владимир Ильич.

От портрета Блонского трудно оторваться. На снимках он выглядит рабочим-революционером, вроде Максима из кинотрилогии, — и рабочий, и интеллигент. Во взгляде его — и воля, и мягкость, и как-то сразу видно, что это очень талантливый человек. Блонский и был невероятно талантлив. Он был и философ, и психолог, и педагог.

Талантом веет от каждой строчки Блонского. В педагогических сочинениях стиль — важная характеристика. Большой педагог — всегда большой публицист, из этого общего правила почти нет исключений.

Блонский был страстен и пылок. Его сочинения можно ставить рядом с книгами Пирогова или Писарева — Блонский не уступит им.

«...Неужели идеал школы — воспитание квалифицированного рабочего?.. Неужели даже в школе человек не самоцель?..»

«Выражаясь резко, мы, учителя, — дрессировщики, гипнотизеры, а ученик — попугай, загипнотизированный авторитетом автомат...»

«Любите не школу, а детей, проходящих в школу; любите не книги о действительности, а самую действительность; не жизнь суживайте до учения, но учение расширяйте до жизни! А самое главное: любите жизнь и как можно больше живите живою жизнью».

Эти выдержки из статьи, написанной в канун революции, приведены здесь не для знакомства читателя с системой взглядов Павла Петровича Блонского, а просто для того, чтобы можно было почув-

ствовать этого человека, его темперамент, его здравый смысл. Его книги не устарели, не к истории относятся, они и сегодня зовут: «Учитель, стань человеком!» (так называется глава в одной из книг П. Блонского).

С одними людьми бывает много всяких приключений; другие, казалось бы, живут однообразно: день за днем проводят среди книг, в аудитории, в лаборатории. Но приключения духа, приключения мысли, приключения научных взглядов иногда бывают очень острыми, даже опасными, хотя их, конечно, не покажешь в кино.

Когда Блонский начинал свою ученую деятельность, он был философом-идеалистом. Потом, под влиянием Октябрьской революции, которую он принял в числе самых первых педагогов, он начал изучать марксистскую философию и взгляды его стали изменяться. И в то время, когда другие ученые еще оставались на старых позициях, Блонский написал свой «Очерк научной психологии» — первый марксистский анализ этой сложной науки. Он создал книгу в одиночку, ему не на кого было опереться — как пионер. В наши дни ученые называют эту работу «научным подвигом».

«Мы живем среди людей и находимся в общении с ними. Легко представить, как много выиграло бы общение с людьми от знания поведения их, сколько нежелательного исчезло бы в нашем быту, если бы мы лучше знали и понимали поведение людей. Наконец, чем лучше мы будем знать, в зависимости от каких условий это поведение изменяется, тем успешнее мы будем влиять на него. И политик, и судья, и моралист должны уметь разбираться в поведении людей. Писатель, артист, оратор — словом, всякий, кто обращается к человечеству, должен знать психологию человечества. Знание того, как и отчего изменяется поведение ребенка, необходимо воспитателю».

Блонский в юности тренировался в наблюдении за людьми. И студентов своих он заставлял ездить в трамваях и пригородных поездах, чтобы изучать пассажиров: учиться определять по выражению глаз, мимике, жестам душевное состояние человека, его настроение, уровень культуры, склад характера.

Блонский очень не любил учителей, которые приходят на урок, спрашивают, ставят отметки, задают на дом и покидают класс. Он хотел дать советскому учителю истинное, серьезное знание о ребенке. Когда появилась новая наука — педология, наука о поведении ребенка, он увлекся ею, написал большой труд — «Педология».

Но у педологии была вот такая ошибка: она слишком большое значение придавала наследственности и биологическим особенностям детей. Педологи проводили опросы и испытания детей, устанавливали уровень их умственного развития. По всей стране существовали специальные педологические кабинеты с наборами тестов, головоломок, вопросников. Мальчишка должен был решать задачки и отгадывать головоломки. В зависимости от результатов его зачисляли в развитые или неразвитые. Методика таких исследований в то время была еще очень неразработанной, это приводило к ошибкам. К тому же как-то так получилось, что педология вытеснила педагогику. Исследовать способности детей надо, но надо же детей и учить, развивать их способности! В конце концов педология была запрещена чуть ли не в законодательном порядке. Нетрудно представить себе, что пережил ученый, когда его работа оказалась перечеркнутой. Он недолго прожил еще: в 1941 году Павел Петрович Блонский умер (а родился он в 1884 году).

Закрыть педологию закрыли, но долгие годы учителя и психологи, несколько напуганные печальным концом педологии, практически вообще не изучали особенности детей, их поведения. И лишь в последнее десятилетие стала вновь развиваться педагогическая психология, стали исследовать поведение ребенка в семье, школе, среди товарищей, его симпатии и антипатии, его интересы. И труды Павла Петровича Блонского вновь переиздаются, ученые и педагоги часто обращаются к ним.

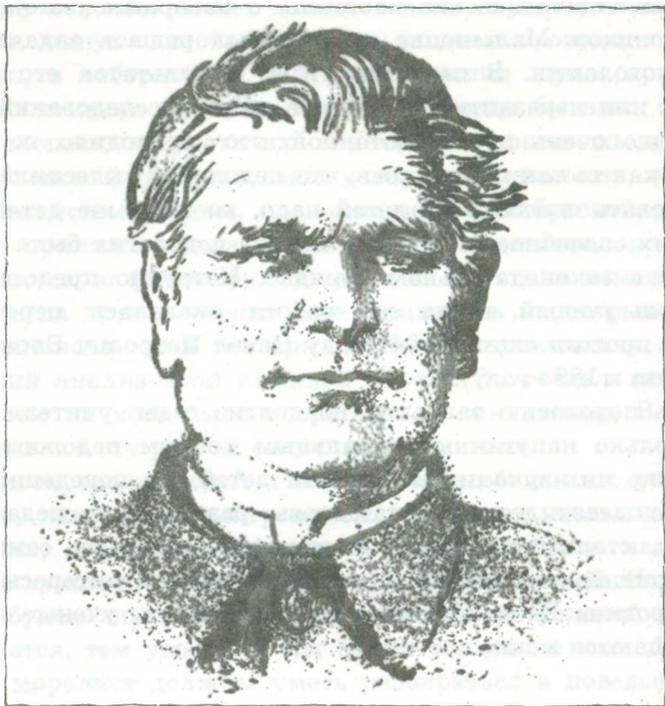
* * *

...Одни становятся педагогами потому, что в детстве они видели очень хороших учителей и захотели подражать им.

Другие, наоборот, становятся педагогами потому, что в детстве их учили *очень плохо* и захотелось самим найти лучшие способы воспитания и обучения.

Педагоги от радости и педагоги от боли.

Из гимназии Станислав Теофилович Шацкий вынес впечатление: «Так не надо ни учиться, ни учить». Его всю жизнь преследовало воспоминание о товарище-гимназисте: учитель математики собирался поставить ему единицу, «а тот рыдал, целовал его рукав и просил пощады».



Станислав Теофилович Шау-
кий учился на агронома, потом
на певца, а прославился как
педагог.

Сначала Шацкий сам учился учиться. Он был типичным «вечным студентом». Окончил естественный факультет Московского университета, потом учился в Консерватории, потом поступил в Петровскую (теперь Тимирязевская) земледельческую академию и стал любимым учеником Климента Аркадьевича Тимирязева.

К 1910 году Шацкий был певец, актер, режиссер и агроном. Он был замечательный певец с огромным репертуаром: 300 романсов и песен, 10 оперных партий. Драматический тенор. Шацкий ездил с концертами по стране, пользовался большим успехом, и, наконец, ему предложили дебют в Большом театре!

Его ждали слава, успех, почет, деньги.

Шацкий от всего отказался, даже от дебюта, открывавшего путь во все оперные театры страны.

Ему было в то время уже тридцать два года, и он нашел наконец свое истинное призвание.

Он научился учиться. Оставалось научиться учить. Шацкий бросает сцену, бросает агрономические занятия и становится педагогом. Его мечта — «вернуть детство детям».

Совратил его на этот путь его друг архитектор Александр Устинович Зеленко. Зеленко вернулся из путешествия по Америке и привез рассказы о новых способах обучения и воспитания детей, о теориях американского педагога Джона Дьюи. Позже Шацкий сам внимательно изучит книги новых западных педагогов и поймет, что в них полезно и важно, а что не представляет интереса. Но пока он был увлечен, потрясен. «Американец» Зеленко сыграл в его жизни ту же роль, что два шкафа педагогических книг в жизни Ушинского.

«Так что же нам теперь делать?» — спрашивал себя Шацкий. В это время он был еще студентом и давал частные уроки, чтобы прожить. Он отказался от уроков: он не мог больше учить по-старому, натаскивать к экзаменам. Он должен развивать учеников, заинтересовывать их! Потом он вновь взял уроки, но не учил своих подопечных в старом смысле слова, а прежде всего развивал их. Он таскал на домашние уроки физические приборы, разные диковины, увлекательные книги: главное — пробудить интерес к науке!

Но частные уроки не могли удовлетворить Шацкого.

Весной 1905 года Зеленко и Шацкий обошли дворников, кочегаров, рабочих Земледельческой академии и упросили их отдать им

своих детей на лето. Набралось детей немного — 15 человек; они и составили первую трудовую колонию в Щелкове, под Москвой.

Из этой маленькой Щелковской колонии выросли все наши нынешние пионерские лагеря, развились самые главные идеи советского воспитания — воспитание в труде и в коллективе.

Три важнейшие мысли родились в Щелковской и в последующих колониях, организованных Шацким.

Мысль первая: воспитание есть организация жизни детей.

Обратите внимание: воспитывать — это не значит поучать, выговаривать, беседовать. Воспитывать — значит особым образом, педагогически организовать жизнь ребенка. «Трудовая школа есть, по существу, хорошо организованная детская жизнь», — писал Шацкий. «Просто» надо умно устроить жизнь детей, и сама эта жизнь будет их воспитывать!

Мысль вторая: ребята, вырастая в этой умно организованной жизни, должны чувствовать, что от них есть какая-то польза, что они уже сегодня, пока они еще дети, как-то улучшают жизнь. У них появляется цель! Наша колония, говорил Шацкий ребятам, «это место, где мы всё устраиваем кругом себя. Хорошую жизнь, и чем дальше — тем лучше».

Позже, когда Шацкий вместе с женой своей Валентиной Николаевной Шацкой организует под Тулой колонию «Водрая жизнь», он напишет в стенгазете своих воспитанников: «Здесь было дикое место. А благодаря тому, что мы поселились тут, что мы здесь работаем, все должно стать лучше: и лес, и земля, и дороги, и ключи, и луг, и поле».

Это было совершенно необычным в то время. Труд ребят приобрел смысл, они учились радоваться совместному коллективному труду!

И наконец, мысль третья: для детей всего важнее детское общество. Сверстники влияют сильнее, чем взрослые. Это тоже было ошеломляющим открытием. В гимназии педагог видел перед собой сплоченный класс, но против кого сплоченный? Против педагога. Детский коллектив стал помощником воспитателя. «Работать вместе с детьми — это значит признавать громадное влияние на детей детского общества». «...Руководители должны быть членами колонии подобно детям...»

Посмотрите, как все решительно перевернуто. Педагог не *над*

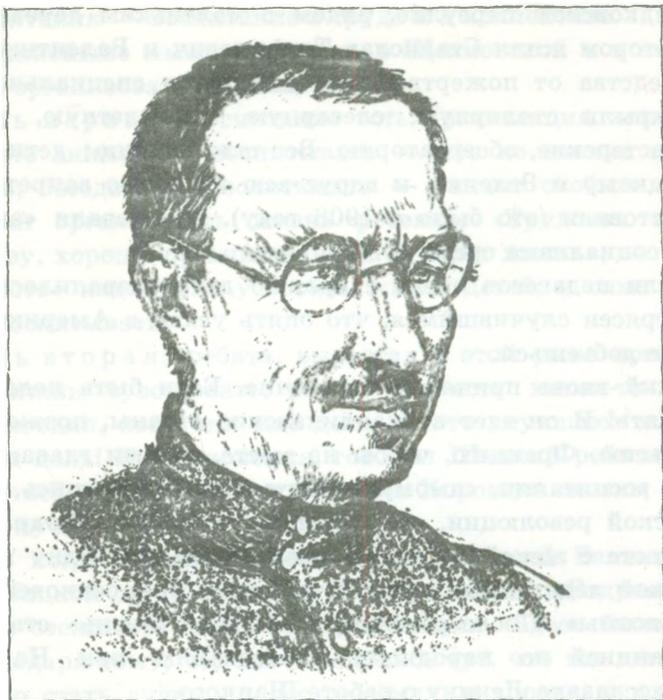
детьми — *вместе* с детьми; педагог и дети — одно общество, у них одна цель. Педагог становится другом воспитанника.

После Щелковской колонии Шацкий и Зеленко организуют несколько детских клубов в Москве, что-то вроде нынешних домов пионеров. В Вадковском переулке, рядом с маленьким деревянным домиком, в котором жили Станислав Теофилович и Валентина Николаевна, на средства от пожертвований построили специальное здание, а в нем открыли столярную, слесарную, переплетную, сапожную, швейную мастерские, обсерваторию. Все шло хорошо; дети валом валили к Шацкому и Зеленко, и вдруг всю их затею запретили, а самих их арестовали (это было в 1908 году). Арестовали «за попытку проведения социализма среди детей».

Выпустили педагогов очень скоро, но дело развалилось. Зеленко был так потрясен случившимся, что опять уехал в Америку: ничего, мол, здесь не добьешься.

А Шацкий вновь принялся за учение. Если быть педагогом, надо много знать! И он едет в Скандинавские страны, позже — в Германию, Бельгию, Францию, чтобы на месте, своими глазами увидеть все новое в воспитании, самому оценить его. Вернувшись, незадолго до Октябрьской революции, он открывает колонию «Бодрая жизнь» и пишет вместе с женой книгу «Бодрая жизнь» — одну из лучших книг советской педагогики, предшественницу макаренковской «Педагогической поэмы». После революции «Бодрая жизнь» стала Первой опытной станцией по народному образованию при Наркомпросе. Крупская рассказала Ленину о работе Шацкого.

— Вот это настоящее дело, а не болтовня! — отозвался Владимир Ильич.



Антон Семенович Макаренко
сначала переделал себя, за-
тем своих колбасистов, затем
всю науку воспитания.

Глава девятнадцатая



ожалуй, это самая трудная в книге глава. Слишком необычен человек, которому она посвящена. Слишком сложен он. Слишком хорошо его все знают или думают, что хорошо знают. Слишком много споров вызывает его деятельность.

Другие великие имена нашли свое точное место в учебниках: им воздано должное, а если у них были ошибки (с точки зрения нынешнего времени), то ошибки эти получили общепризнанную оценку.

Кто сегодня станет спорить и ссориться из-за Николая Ивановича Новикова?

Кто разгорячится из-за странички сочинений Песталоцци? Кто станет листать тома его сочинений, доказывая: «Вот здесь Песталоцци говорил так!» — а спорщику ответят цитатой из другой статьи. Разве что ученые историки...

Хотя Макаренко умер больше тридцати лет назад, его имя не сходит со страниц газет и участвует в каждом сегодняшнем споре на педагогические темы.

Только на русском языке вышло более восьмисот работ о его жизни и его взглядах.

Толстые книги о Макаренко выходят во многих странах, на многих языках. Макаренко хвалят, Макаренко ругают, Макаренко хотят понять. Каждый исследователь хотел бы представить «подлинного» Макаренко. Но каким он был на самом деле?

Одним этот человек кажется простым и понятным, другим — великим и загадочным. Американцы пытаются по трудам Макаренко постичь «тайны Советской России».

Ни один из русских педагогов не привлекал к себе такого внимания во всем мире, как Макаренко. И вот что поразительно: с года-

ми споры о Макаренко, о том, как его понимать, как использовать его опыт, не утихают, а обостряются.

Сегодня трудно быть педагогом, не определив своего отношения к Макаренко.

Макаренко поднялся к вершинам мировой славы буквально с самых низов. Он и родился-то (в 1888 году) в подвальном помещении большого дома, принадлежавшего купцу (в местечке Белополье, Харьковской губернии). Отец его был рабочим-маляром, но к моменту рождения сына уже в какой-то степени выбился в люди: служил старшим мастером малярного цеха в железнодорожных мастерских.

Видимо, это был очень интеллигентный человек. Есть свидетельства, что подчиненные тепло относились к нему. На рождение сына товарищи по работе преподнесли семье Макаренко прекрасную люльку из орехового дерева. Таким материалом отделывали вагоны первого класса.

Судьба детей железнодорожников была фактически predetermined: с рождения все они, подрастая, шли работать на железную дорогу. «Вариация на малом диапазоне, — писал Макаренко, — от паровозного слесаря до паровозного машиниста». Семнадцатилетний Антон Макаренко тоже пошел служить на вагонный завод, где работал отец, но он нашел новую волну в том же диапазоне: он стал учителем в заводской школе. Для этого он окончил одногодичные педагогические курсы при четырехклассном городском училище. Образование учительского подмастерья.

Крутятся стрелки часов, щелкают годы: 18 лет... 19... 20... 25... Макаренко преподает. Играет ученикам на скрипке. Ведет кружок рисования. В его комнате висит портрет Льва Толстого, нарисованный самим Макаренко (через десять лет он нарисует для колонии большой портрет Горького). Учится любить детей, и дети начинают любить его. Позже (но еще до колонии) ученики его станут даже одеваться, как он, сошьют себе косоворотки «под Макаренко».

Мы очень мало знаем о душевном состоянии Антона Макаренко этих лет и лишь по косвенным «улика» можем представить себе, какая напряженная внутренняя работа шла все эти годы, какие сомнения и смятения одолевали молодого учителя.

Он пробует себя в изобразительном искусстве. Но это чистое любительство. Испытывает свое литературное дарование. Пишет рассказ и посылает его самому Горькому. По его словам, это было в

1914 году, но один из исследователей считает, что это эпизод 1915 года. Неважно. Важно, что придавал значение рассказу, если при всей своей деликатности решился послать его Горькому. Алексей Максимович отозвался. Поругал рассказ: «Интересен по теме, но написан слабо... — И прибавил: — Попробуйте написать что-нибудь другое».

Человек может изучать, познавать самого себя двумя способами. Может копаться в своей душе, предаваться бесконечному самоанализу, терзать себя мыслями о собственной бесталанности. Но может стараться проявить себя в самых разных отраслях и, энергично выявляя себя то так, то этак, исследовать свои способности. Молодой Макаренко познавал себя вторым, плодотворным образом. Его самопознание вело к росту, было источником роста, душевным двигателем. Ибо он, узнавая себя, сам себя и конструировал.

Образование, как уже представляет себе читатель, он получил самое мизерное. С таким образованием такой человек жить не мог. Он садится за книги. Спустя примерно 10 лет, в 1922 году, ему придется однажды подвести честный итог: что он знает и чего не знает. Не поленимся прочесть очень длинную цитату из его заявления в Центральный институт организаторов народного просвещения. Это интересный документ. Долгое время о Макаренко говорили: «практик», «малообразован», «отвергает науку». Но вот документ, который показывает: Антон Семенович был очень образованным человеком.

«Математикой никогда особенно не интересовался, поэтому арифметика, геометрия, алгебра, тригонометрия и физика мне знакомы только в пределах курса дореволюционного Учительского института...

Природоведение. Разумеется, совершенно свободно себя чувствую в области физиологии животных и растений. Анатомические знания слабы. Забыл многие частности из геологии. Астрономию знаю хорошо и занимаюсь практически в Полтавском музее.

Впрочем, знания по астрономии и космографии у меня продукт увлечений юношества.

Сolidные знания имею в общей биологии. Несколько раз читывал всего Дарвина, знаю труды Шмидта и Тимирязева, знаком с новейшими выражениями дарвинизма. Читал Мечникова и кое-что другое.

Химию практически не знаю, забыл многие реакции, но общие положения и новейшая философия химии мне хорошо известны. Читал Менделеева, Морозова, Рамзая. Интересуюсь радиоактивностью.

Географию знаю прекрасно, в особенности промышленную жизнь мира и сравнительную географию. Свободно чувствую себя в области экономической политики, знаком с ее историей и зародышами будущих форм. Все это, разумеется, не из учебников. Очень интересуюсь Австралией и Новой Зеландией.

История мой любимый предмет. Почти на память знаю Ключевского и Покровского. Несколько раз прочитывал Соловьева. Хорошо знаком с монографиями Костомарова и Павлова-Сильванского. Нерусскую историю знаю по трудам Виппера, Аландского, Петрушевского, Кареева. Вообще говоря, вся литература по истории, имеющаяся на русском языке, мне известна... Гомеровскую Грецию знаю после штудирования «Илиады» и «Одиссеи»...

Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслова, Ленина...

Читал все, что имеется на русском языке по психологии...

С философией знаком очень несистематично. Читал Локка, «Критику чистого разума», Шопенгауэра, Штирнера, Ницше и Бергсона...

Люблю изящную литературу. Больше всего почитаю Шекспира, Пушкина, Достоевского, Гамсуна. Чувствую огромную силу Толстого, но не могу терпеть Диккенса. Из новейшей литературы знаю и понимаю Горького и А. Н. Толстого...»

Все это было добыто самообразованием. Широкий кругозор, знание из первоисточников («разумеется, не по учебникам», подчеркивает Макаренко) — необходимейшее качество педагога.

Макаренко был скромный человек. Вы редко найдете в его работах ссылки на прочитанные книги. Он не выставляет знания на показ. И только высокая культура мысли и речи выдает его ученость.

Когда она была добыта? Когда успел он несколько раз перечитать Соловьева — 15 толстых томов по русской истории? Заниматься астрономией? Перечитать всю литературу по психологии?

Все в эти первые, подготовительные годы. Учитель становится учителем не сразу. Дело не в том, что нужно много лет для приобре-

тения педагогического опыта. (Проработав в школе 15 лет, Макаренко позже, оценивая себя, скажет, что в области педагогической техники он — после 15 лет работы! — был «юмористически неграмотен».) Опыт опытом, но еще больше времени нужно для того, чтобы в трудах и бессонных ночах добыть настоящее образование.

В 1914 году Макаренко подает заявление в только что открытый Полтавский педагогический институт. Конкурс большой: на 25 мест — сто претендентов. На вступительном экзамене по закону божьему он срезался: двойка. Конец? Но остальные экзамены он сдал так блестяще, что его все-таки приняли в институт. Преподаватели и товарищи дивились глубине и обширности его знаний. Пророчили ему, что он станет «профессором истории». Когда же он окончил институт, ему выдали следующую характеристику:

«Макаренко Антон — выдающийся воспитанник по своим способностям, развитию и трудолюбию, особый интерес проявил к педагогике и гуманитарным наукам, по которым много читал и представлял прекрасные сочинения. Будет весьма хорошим преподавателем по всем предметам, в особенности же по истории и русскому языку».

Отметим это: весьма хороший преподаватель *по всем предметам*.

Макаренко становится директором большой — на 1000 учеников — школы в посаде Крюково, в Кременчуге.

Для него революция — это ощущение свободы, развязанных рук. Наконец-то есть возможность сделать что-то свое, что-то новое, выжить себя и свои возможности!

А в Крюково все по-старому. Стычки с администрацией, тесные школы, старые педагоги и старые педагогические приемы...

Макаренко едет в Полтаву, в губернский отдел народного образования. Критикует школу: она не годится для нового, революционного времени!

Ему дают колонию для малолетних преступников. То есть не колонию, а место для нее.

Теперь, после того как мы знаем нынешнего Макаренко, нам все кажется естественным: человек получил в заведование колонию.

Но представим себе тридцатидвухлетнего молодого человека в пенсне, в косоворотке, в модной фуражке с белым верхом и лакированным козырьком, этого типичного «гуманитария», интеллигентного учителя, привыкшего сидеть за книгами и находиться в

более или менее культурной среде учителей большого города, — представим себе, что значит для такого человека отправиться в глушь, в село, взять на себя ответственность за преступников, которых привозят ему в черных каретах и сдают из-под нагана. И остаться с этими беспризорниками, бандитами, ворами один на один в полуразрушенном, холодном здании, не имея денег на самые необходимые нужды, не имея возможности даже одеть, обуть и накормить колонистов. Да еще предстояло заниматься сельским хозяйством, растить хлеб, разводить свиней, возить навоз на поля — ему, человеку, никогда не жившему в селе, предполагаемому «профессору истории»!..

Но время собирания, накопления сил кончилось. Макаренко нужна была свобода и самостоятельность. Он берет колонию — в будущем знаменитую на весь мир колонию имени Горького. У него не было еще, судя по всему, тех идей, которые прославили его, но у него было все необходимое для того, чтобы эти идеи выработать.

Здесь стоит сделать отступление и еще поразмышлять об этом поступке — переходе из обычной школы в детскую колонию.

Самое распространенное возражение против опыта и теории Макаренко заключается вот в чем: дескать, Макаренко работал с правонарушителями, беспризорниками, в закрытом учреждении, и потому все его находки и мысли для нормальной школы и нормальных детей вроде бы и не пригодны. Очень удобно: Макаренко хорош, прекрасен, но... не для нас и не для нашего времени, ибо сейчас беспризорников нет.

Наивное рассуждение.

Но мог ли Макаренко выработать свои взгляды в обычной школе, будучи преподавателем любого из предметов или даже всех предметов сразу (к чему он был, как мы видели, готов)? Кто из великих педагогов-практиков сумел выработать новые идеи в обычной школе или гимназии? Песталоцци? Ушинский? Януш Корчак?

Все они работали в закрытых учебных заведениях, в детских домах и приютах. Там дети целиком предоставлены педагогу, полностью находятся под его влиянием. Там педагог берет на себя безграничную ответственность за воспитание детей.

И только там, где педагог остается один на один с детьми, где ему приходится преодолевать невероятное сопротивление воспитанников, окружения, обстоятельств, где ему нужно не просто препода-

вать, не просто воспитывать, а отстаивать самое свое существование, — там только и высекаются, как искры, великие идеи.

Часто о ком-нибудь говорят: «Его мысль не была плодом кабинетных размышлений»...

Неужная ирония. Многие прекрасные мысли в педагогике (и в других науках) родились именно в кабинетном уединении, среди книг, в ночных озарениях.

«Кабинетная» мысль часто бывает ближе к жизни и больше говорит о жизни, чем мысль, рожденная непосредственно в классе, на заводе, в лаборатории.

Но педагогика Макаренко была вызвана не чистым размышлением, а реальной борьбой. Эта педагогика рождена необходимостью, порою, можно сказать, отчаянием. Нужда и безвыходность заставили этого человека сделать те изобретения, которые он сделал: без них он просто не смог бы выжить.

Но это обстоятельство не уменьшает значения Макаренко, а, наоборот, возвеличивает его. Потому что нужда в новой педагогике была не у него одного — у тысяч учителей. А открытие сделал он, а силы, знания и мужество, необходимые каждому первооткрывателю, нашел в себе только он.

Где-то на рубеже тридцать второго и тридцать третьего года жизни в нем вдруг проснулись дремавшие силы борца. Еще правильнее сказать, что не «вдруг» эти силы проснулись — они были разбужены Октябрьской революцией, как и силы миллионов людей. Так военное время делает великих полководцев из людей, которые, родись они в другие годы, всю жизнь прозябали бы в неизвестности. А Макаренко был рожден борцом! Недаром он всю жизнь любил военное — форму, строй, честь, уважение к знамени, прекрасно знал военную историю; недаром о нем даже распускали слух, будто он «бывший полковник» (а он и был-то всего в армии несколько месяцев после института и освобожден от службы из-за близорукости); недаром он, как Андрей Болконский, хотя и с некоторым юмором, сравнивал себя с Наполеоном. «Солнце Наполеона едва ли способно было затмить мою сегодняшнюю славу, — пишет Антон Семенович в «Педагогической поэме», рассказывая о победе над Куряжем. — А ведь Наполеону гораздо легче было воевать, чем мне. Хотел бы я посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоя для него были так же обязательны, как для меня».

Кто-то из коллег Макаренко пишет о нем в воспоминаниях: «Он всегда жил в предчувствии победы...»

Один из самых прекрасных документов, оставленных нам Макаренко, — его письмо учительнице Антонине Павловне Сугак, в Крюков, из колонии, 24 марта 1923 года, то есть на третий год работы в колонии. Письмо было вызвано вот каким обстоятельством: Макаренко звали обратно в Крюков. Звали потому, что помнили прекрасного учителя и огорчились, что он уехал; отчасти же и потому, что крюковские коллеги жалели Антона Семеновича, погибающего, по их мнению, в какой-то там колонии. Друзья были деятельны: они даже послали к Макаренко человека с мандатом «на право изъятия его из колонии».

Антон Семенович отвечал:

«Меня очень трогает такая настойчиво высокая оценка моей osoby, которую проявляют крюковчане. Я очень и очень рад и тому, что для меня представляется возможность возвратиться в Крюков и помочь маме. Наконец, и в самом деле, до каких же мне пор сидеть в колонии и пропадать, как вы все там думаете. Нужно жить, и прочее.

Но вся беда в том, что вопрос не решается для меня одним желанием. Я теперь человек крепкий, такой крепкий, каким Вы меня никак не представляете. Таким меня сделала колония. Вы как раз, сударыня, патетически восклицаете: «Что вам дала колония?» Столько дала, Антонина Павловна, что Вам и не приснится никогда. Я сделался другим человеком, я приобрел прямую линию, железную волю, настойчивость, смелость и, наконец, уверенность в себе... Что бы я ни сделал потом, начало все-таки нужно будет искать в колонии. И даже не только в том смысле, что я здесь чему-то научился и что-то пережил, но еще и потому, что здесь я сам над собой произвел огромный и важный опыт...»

Как истинный исследователь-гуманист, как врач, который вводит себе сильную вакцину, проверяя безопасность ее для организма, Макаренко поставил свой опыт прежде на самом себе. Он сам себя переделал, превратился в нового человека и увидел, что хотя эта процедура и не совсем безболезненна, хотя она требует страшного напряжения сил («...я дошел уже до того, что сплю через ночь вот уже около полутора месяцев и даже отвык спать»), результаты были прекрасными. Он почувствовал себя человеком! И он хотел, чтобы

это же чувство — радость быть собранным, мужественным, деятельным человеком — испытали все его воспитанники. Он дал им эту радость.

Вот малоизвестная песня колонии имени Горького, сочиненная, очевидно, на четвертом году ее существования. В простоватых милых строчках чувствуешь колонию больше, чем в страницах длинных описаний.

Колонисты, на работу!
Колонисты, на работу!
На работу, друзья, на работу!
Нам работа — не забота,
Нам работа — не забота,
Не забота, друзья, не забота!
Дни бывали похуже —
Колонисты, на работу!
Мы живали послабее,
Мы живали послабее,
Да и то не робели —
По полфунта хлеба ели...
Колонисты, на работу!
Вспоминали мы денечки,
Отдыхая в холодочке...
Колонисты, на работу!
И три года пролетело,
Наши беды улетели.
Улетели, друзья, улетели.
Колонисты, твердым шагом
Все вперед за красным флагом!
Все вперед за красным флагом!

Педагогика Макаренко — педагогика борьбы и мужества. В воспитательском деле он вел себя прежде всего как мужчина. Не боялся риска, брал на себя всю ответственность, смело шел на обострения — и всегда выигрывал. «Везучий я человек», — всю жизнь повторял Макаренко. Эпизод, известный каждому: в порыве отчаяния и гнева Макаренко ударил воспитанника Задорова. Иные только и помнят из всей «Педагогической поэмы» это место, только для того им и нужен бывает Макаренко, чтобы прикрыться: «Видите, и он ударил... Значит, и мне можно...» И почему-то не упоминают при этом, что Задоров был сильнее, крепче своего воспитателя, да к тому же не зависел от него. Макаренко от Задорова зависел, а Задоров с друзьями — нет. Колония имени Горького с самого начала была учреждением

открытым: не нравится — уходи. Ни запоров, ни охраны, ни погонь. Подняв руку на Задорова, Макаренко рисковал жизнью.

Но он ни разу не пожалел о своем поступке. В отличие от педагогов, которые воспитывают «вообще» и сами не знают, что из их воспитания выйдет, Макаренко не боялся брать на себя всю ответственность за результаты воспитания.

Он не просто «воспитывал» и даже не «перевоспитывал» — он строил человеческие характеры заново, как выстроил заново свой собственный характер.

Что, кроме внезапно разгоревшихся внутренних сил, кроме страсти, двигало им?

Прежде всего бешеная, не знающая границ любовь к детям, вылившаяся в не совсем обычную форму: в ненависть к страданиям детей.

Горький, описывая Макаренко, говорит: «У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно, приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженной голове».

По ночам Макаренко подсовывал под подушки ребятам конфеты. «Я очень люблю этот отдел человечества», — признавался Антон Семенович. И, пожираемый этой любовью к детям, он не мог, чтобы ребята страдали и мучились, не мог видеть, чтобы кто-то обижал их, подавлял. Все строгости дисциплины Макаренко направлены на одно, и только на одно: на охрану спокойствия детей. Охрану от голода, от унижений и, прежде всего, от притеснений сверстников.

На двух чашах всемирных педагогических весов лежат две книги, описывающие два воспитательных учреждения. Это «Очерки бурсы» Помяловского и «Педагогическая поэма» Макаренко. Антиподы!

Бурса: полное подавление человеческой сущности в ребенке, крайнее унижение его, жуткие формы зависимости слабых от сильного.

Колония имени Горького: полная возможность развиваться для каждого ребенка, возвеличивание его, абсолютная независимость и защищенность ребенка от всего, что несправедливо.

И какое воспитательное учреждение ни возьмешь, какими бы красивыми словами это учреждение ни обволакивали, суть всегда одна, и искать ее надо по показаниям этих весов, где-то между бурсой и колонией Макаренко: чем ближе к колонии, тем дальше от бурсы.

Увидев своими глазами Куряж (можно поставить знак равенства:

Куряж = Бурса), Макаренко, как он сам пишет, испытывает «гнев тысяча девятьсот двадцатого года», то есть тот великий гнев, который заставил его начать работу в колонии. «За моей спиной, — пишет Макаренко, — вдруг обнаружился соблазняющий демон бесшабашной ненависти. Хотелось сейчас, немедленно, не сходя с места, взять кого-то за шиворот, тыкать носом в зловонные кучи и лужи, требовать самых первоначальных действий... нет, не педагогики, не теории социализма, не революционного долга, не коммунистического пафоса, нет, нет, — обыкновенного здравого смысла, обыкновенной презренной мещанской честности».

Бурса, Куряж — все несправедливое к детям и вообще всякая несправедливость были ненавистны Макаренко. В этой ярости своей он иногда вторгался в сферы, даже ему неподвластные. Пороку, говоря о красоте коллективной жизни, он приводил такой довод: жизнь в коллективе лучше, потому что она не знает «патологии личной жизни». В личной жизни люди неудачно влюбляются, как бывший колонист Лапоть, вешаются, как Чобот, а он, Макаренко, педагог, ничего не может сделать. Это невыносимо! Макаренко вовсе не посягал на права человеческой личности, тысячу раз предупреждал против попыток «остричь всех одним номером, втиснуть человека в стандартный шаблон...» Но он был нетерпим к личному несчастью. Чужое несчастье раздражало его именно потому, что он чувствовал себя бессильным, а он привык нести бремя ответственности за всех и за вся. Сознание собственного бессилия делало несчастным его самого. «Несчастий, несчастных людей быть не должно. Нельзя быть несчастным... — вызывающе утверждал он. — И счастливым человеком нельзя быть по случаю — выиграть, как в рулетку, — счастливым человеком нужно уметь быть... Ведь один вид несчастного человека убивает всю радость жизни, отравляет существование».

Что это — жестокость? Недобросердечие? Нет, такие слова неприменимы к Макаренко. Он знал жалость больше других и сильнее других мог пожалеть. Но он никогда не ограничивался одной лишь жалостью. Жалость для него — потребность в немедленном действии.

Вот одна из историй о Макаренко. Он уже ушел из колонии имени Горького, когда колонист Землянский, охраняя ночью здание, вздумал баловаться с ружьем и нечаянно убил товарища. Он был вне себя от горя. Макаренко узнал об этом, приехал в колонию, забрал Землян-

ского к себе, в коммуну имени Дзержинского, ни слова не говоря о случившемся; и так до смерти своей ни разу не напомнил ему о несчастье. Таких историй в воспоминаниях о Макаренко можно найти много. Он был добр к ребятам высшей добротой, он, говоря словами Горького, сгорал «в огне действенной любви к детям». Действенная любовь к детям — вот как надо было бы назвать педагогику Макаренко, если бы пришлось описывать ее очень коротко.

Но что мог сделать этот человек, губивший себя бессонницей и непосильной работой, поначалу сам отказавшийся от личной жизни (колонисты-горьковцы ревновали его ко всякой женщине), один среди сотни обездоленных ребят, не веривших ни во что на свете и меньше всего веривших в самих себя?

А за сотней вставали миллионы. Семь миллионов беспризорных по стране, семь миллионов ожесточившихся детей — без отца, без матери, без ласки, без доброго слова, без хлеба, без крова, без школы. Семь миллионов ребят, внезапно и жестоко выброшенных из детства войной и разрухой!

Просто любовь и жалость пасовали перед этими детьми. Одичавшие и ожесточившиеся, они переносили свое презрение и на самых добрых, самых искренних воспитателей, на добро отвечали злом — воровали, отказывались работать, разбегались. Сорок процентов беспризорных, помещенных в различные детские дома, вскоре убегали оттуда!

В патентном деле различают понятия: усовершенствование, изобретение и открытие. На тысячи усовершенствований и изобретений — одно открытие. Открытие — это почти всегда переворот в науке.

Макаренко нашел сотни усовершенствований педагогической работы, сделал десятки изобретений и одно открытие.

Об этом открытии он написал Горькому в первом же письме после того, как Алексей Максимович вступил в переписку с колонией. Видимо, Макаренко понимал необычайную важность именно этой из многих его мыслей: «С самого начала мы поставили себе твердым правилом не интересоваться прошлым наших ребят. С точки зрения так называемой педагогики, это абсурд...»

В таком изложении открытие Макаренко может показаться одной из частных проблем. Но Горький оценил мысль Макаренко. «Это действительно *система перевоспитания* и лишь такой она и

может и должна быть всегда, а в наши дни особенно». (Слова «система перевоспитания» подчеркнуты мною. — С. С.)

Прошлое не входит в будущее ребенка. Точнее: дурное прошлое не входит в будущее ребенка.

Самая дерзкая мысль за всю историю педагогики! Недаром она показалась абсурдной. Всякое великое открытие поначалу кажется бредовым. Нынешние физики почти всерьез оценивают новые теории в своей науке по этой мерке: достаточно ли нелепой выглядит теория? И потому великие открытия так трудно принимаются: люди не хотят расставаться с привычными взглядами, примиряться с абсурдом.

Что требовала «обычная» педагогика? «...Нужно якобы обязательно разобрать по косточкам все похождения мальчишки, выудить и назвать все его «преступные наклонности», добраться до отца с матерью — короче говоря, вывернуть наизнанку всю ту яму, в которой копошился и погибал ребенок. А собравши все эти замечательные сведения, — иронизирует Макаренко, — по всем правилам науки строить нового человека». Но, продолжает Антон Семенович, «все это ведь глупости: никаких правил науки просто нет...»

Если бы он просто сказал: «Прошлое ребенка не входит в его будущее» — и на этом поставил бы точку, его подняли бы насмех, и правильно сделали бы. Мысль, взятая сама по себе, действительно абсурдна. Но он продолжил ее. Он на опыте доказал ее истинность при одном обязательном условии: если ребенок попадает в крепкий, целеустремленный, занятый умным трудом и красиво организованный коллектив детей и их воспитателей (дети и воспитатели — один коллектив!). Каждый ребенок, попадая в такой коллектив, быстро — и это очень важно: быстро! — становится таким, как его новое окружение, подчиняется новым требованиям и охотно выполняет их, ибо они разумны и логичны.

Электричество всегда существовало в природе, но люди не сразу открыли его и не в один день научились пользоваться.

Силы коллектива всегда существовали, но не сразу, а лишь в нынешнем веке педагогика открыла их и научилась ими пользоваться.

Это открытие сделал Макаренко своим заявлением о том, что прошлое детей его не интересует, ибо он безгранично верит в могущество главной воспитательной силы — детского коллектива.

Могут сказать, что на коллектив опирались и до Макаренко: была коммуна Шацкого, были коммуны Пистрака и других педагогов.

О коллективе говорили многие, многие учились работать с коллективом, но только Макаренко сумел довести эти размышления, этот опыт до конца, только он сумел понять, что новое в «работе по-новому» заключается именно в коллективе. У всякого открытия есть предшественники, приблизившиеся к открытию, работавшие на него, но честь самого открытия достается одному: тому, кто сумеет его выразить до конца.

На четвертом году жизни колонии имени Горького вышла маленькая книжечка писательницы Маро (Левитиной) «Работа с беспризорными». Интересное, беспристрастное свидетельство! Писательница объездила множество колоний для беспризорных на Кавказе, в Крыму, на Украине, в Москве и в других местах и пришла к выводу: «Из обследованных нами сельскохозяйственных колоний по четкости и цельности педагогической работы на первом месте следует поставить колонию имени М. Горького, близ Полтавы».

Далее следует сжатое и очень интересное описание колонии, но имени Макаренко не упоминается. Просто «заведующий» — «высший авторитет и любимый друг» ребят. «Интереснейшим созданием колонии, среди моря расхлябанности окружающей жизни Полтавщины, являются ее организация, ее дисциплина и подтянутость».

Почему же не упомянуто имя Макаренко в этой книжке, которую Антон Семенович послал Горькому вместо отчета о своей работе? Быть может, Макаренко сам просил писательницу об этом? Вот отрывок из его письма того времени: «Я боюсь личной известности, страшно боюсь... Я потому и отдался колонии, что захотелось потонуть в здоровом человеческом коллективе, дисциплинированном, культурном и идущем вперед, а в то же время и русском, с размахом и страстью. Задача как раз по моим силам. Я теперь убедился, что такой коллектив в России создать можно, во всяком случае, из детей. Раствориться в нем, погибнуть лично — лучший способ рассчитаться с собой».

Раствориться... в коллективе? Что за странная мысль?

Но Макаренко не стал бы таким большим педагогом, если бы не был он сложным, страстным и трудным человеком. Маленькая деталь: у него было несколько дочерков. Только жена разбирала все

его почерки. Вот так же и в характере его: он был прямым, но не однослойным.

Его мучают сомнения, он борется с армией не понимающих его людей. И сколько надо мужества, чтобы верить: ты прав, а все — почти все! — вокруг тебя не правы. О нем распускают нелепые слухи, ему досаждают неожиданными проверками.

Проверяющие делают категорические выводы:

— Вы, Макаренко, солдат, а не педагог. Говорят, что вы бывший полковник, и это похоже на правду. Вообще не понимаю, почему здесь с вами носятся. Я бы не пустила вас к детям.

— Коллектив у вас чудесный. Но это ничего не значит, методы ваши ужасны.

А вокруг колонии десятки подобных ей учреждений, где методы воспитания «чудесные», да коллектив ребят ужасный.

Макаренко едет в соседнюю колонию, спрашивает тамошних ребят: что знают они о колонии имени Горького? Ребята, по воспоминаниям Н. Э. Фере, дружно отвечают ему: там колонистов бьют, и сам заведующий — бывший царский офицер, и воспитатели — тоже, и старшие колонисты — тоже.

Антону Семеновичу все время угрожает увольнение, и наконец — трагичнейший момент! — его увольняют в тот самый день, когда в колонию приезжает Горький. Макаренко встречает Горького, разговаривает с ним до поздней ночи, показывает колонию — три дня радости. И ни слова об увольнении. Стоило только намекнуть Горькому о неприятностях... Макаренко молчит. Он считает себя слишком маленьким человеком, чтобы досаждать своими неприятностями великому писателю.

А Горький внимательно смотрит на Макаренко. Позже он напишет в очерках «По Союзу Советов»: «Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нем тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он — суровый во внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных». Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспекает, все видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, будто делает моментальный фотографический снимок с его характера».

Да, Макаренко имел право писать, что человек обязан быть

счастливым. «...Если ты чувствуешь себя несчастным, первая твоя нравственная обязанность — никто об этом не должен знать. Найди в себе силы улыбаться, найди силы презирать несчастье... Найди в себе силы думать о завтрашнем дне, о будущем. А как только ты встанешь на этот путь, ты встанешь на путь предупреждения несчастий».

Этот человек, больше чем кто-нибудь, знал, что такое несчастье, что — счастье, и он, повторимся, имел право судить об этих категориях.

С колонией имени Горького пришлось расстаться.

Макаренко мог бы сохранить ее, если бы пошел на уступки, но он заявил, что предпочитает «скорее остаться без работы, чем отказаться от ряда организационных находок, имеющих, по моему мнению, важное значение для советского воспитания».

Тут весь Макаренко: останусь без работы, но не отступлю, а открытие его — всего лишь «ряд организационных находок»...

Макаренко ушел. Создал новую коммуну — коммуну имени Дзержинского. О ней не надо рассказывать: «Флаги на башнях».

Первые восемь лет (колония имени Горького) — поиски, вторые восемь лет (коммуна) — утверждение в своих мыслях. Макаренко с изумлением обнаруживает, что если коллектив детей организован по его системе, то «воспитание — очень легкое дело, воспитание счастливое дело, никакая другая работа по своей легкости... не может сравниться с работой воспитания». Это почти дерзость. Все педагоги мира твердили и твердят, что воспитание детей необычайно сложно и трудно, а тут — «воспитание — очень легкое дело». Но Макаренко и вправду неделями не приходится делать ребятам ни одного замечания.

Испокон веков шел спор между педагогами. Одни утверждали, что ребенок от природы зол и надо это злое подавить в нем; другие — что ребенок добр, и надо это доброе развить. Для Макаренко ребенок ни добр, ни зол: он таков, каким сделает его общество, коллектив. Он безгранично верит в возможности человека изменяться и столь же безгранично — в силу воспитания.

«Сейчас 11 часов, — пишет он любимой женщине, будущей жене своей. — Я прогнал последнего охотника использовать мои педагогические таланты и одинокий стою перед созданным мною в семилетнем напряжении моим миром.

Не думайте, что такой мир очень мал. Мой мир в несколько миллиардов раз сложнее вселенной Фламариона...

Мой мир — люди, моей волей созданная для них разумная жизнь в колонии...

Мой мир — мир организованного созидания человека...»

Эти годы — 1927, 1928, 1929 — были очень напряженными для Макаренко (впрочем, какие годы в его жизни были легкими?). Он уходил из колонии. Создавал коммуны. Тайно, по вечерам, писал «Педагогическую поэму». Он любил.

«Вот сейчас в кабинете, когда никого уже нет, я Вам печатаю письмо, и плачу, и мне трудно печатать, потому что сквозь слезы я плохо вижу...»

«Я много писал в своей жизни всяких бумажек, писал и писем много, но ничто и никогда я не писал так непосредственно и свободно, как пишу письма к тебе. Нет, серьезно, когда я к тебе пишу, я себя почти буквально чувствую поющей птицей, вот такой самой обыкновенной серенькой глупенькой птицей, которая поет, поет и страшно рада, что может петь, страшно рада, что светит солнце! Только, конечно же, я не соловей, так, что-то попроще».

Проходят еще годы. Уже вышел отдельной книжкой «Марш тридцатого года». Уже сдана в издательство повесть «ФД-1». А главный труд жизни, важнейшее его дело, первая книга, лежит в столе.

Даже не в столе, нет, — с глаз долой! — просто в чемодане. Год, два, три, четыре, пять. Этот бесстрашный человек, один из самых мужественных людей своего времени, боится показать кому-нибудь «Педагогическую поэму». «Там слишком много правды рассказано, и я боюсь...» «Как-то страшно выворачивать свою душу перед публикой...»

Наконец решился. Показал Горькому. Горький прочитал рукопись в одну ночь. Послал книгу в альманах «Год XVII». Послал теплое письмо автору.

Выходит альманах, выходит книга; поднимаются споры. Книгу переиздают, книгу под названием «Дорога в жизнь» переводят в Англию, во Францию...

Педагог из-под Полтавы становится известным писателем.

Макаренко переезжает в Москву, много пишет, выступает с лекциями, отвечает на вопросы, публикует статьи в журналах и газетах. Вчера его шпыняли и клевали, сегодня его слушают с почтительным

вниманием. Его идеи, его методы находят дорогу в научные труды по педагогике, о нем рассказывают с институтских кафедр, о нем пишут.

Потому что открытие Макаренко не ему одному принадлежит. Это — открытие революции, открытие всей Советской страны. Без веры в то, что дурное прошлое не обязательно должно входить в будущее человека, — без этой смелой веры в силу революционного воспитания нельзя было бы даже начинать строить социалистическое государство.

У каждого века своя педагогика. Восемнадцатое столетие дало миру Руссо; в начале девятнадцатого, если помните, просвещенные люди стремились в швейцарский городок Станц, где учил Песталоцци. Век, в котором мы живем, определился Октябрьской революцией, появлением совершенно нового в истории человечества общества и, соответственно, появлением совершенно новой педагогики. Ее принципы выразились в работе и в сочинениях Макаренко.

Что отличает большого педагога?

Он вбирает в своем труде весь предшествующий ему мировой опыт и одновременно отвергает этот опыт, создавая нечто новое.

Для поверхностного взгляда педагогика Макаренко кажется абсолютным отрицанием прошлого опыта педагогики.

Но — только для поверхностного. Чтобы проследить истоки макаренковских идей, нам пришлось бы перечислить всех педагогов, упоминавшихся в этой книге.

Один из американских исследователей творчества А. С. Макаренко, Джеймс Боуэн, пишет в книге под названием «Советское воспитание (Антон Макаренко и годы эксперимента)»:

«Значение Макаренко в том, что он более энергично и более страстно, чем многие из нас, пытался сделать мир более привлекательным местом для жизни. И мы на Западе... не можем не признать величие его вклада».

Макаренко работал с разными ребятами и всегда добивался успеха. «Не только отдельные выводы, но общая система моих нахонок может быть применена и к нормальному детскому коллективу», — писал он. К сожалению, Макаренко не успел лично доказать это на практике: он умер рано, в 1939 году, пятидесяти лет с небольшим. Садился на поезд, чтобы ехать в подмосковное Голицыно, и вдруг сердце, перенапряженное трудами и страстями, сдало. «Я —

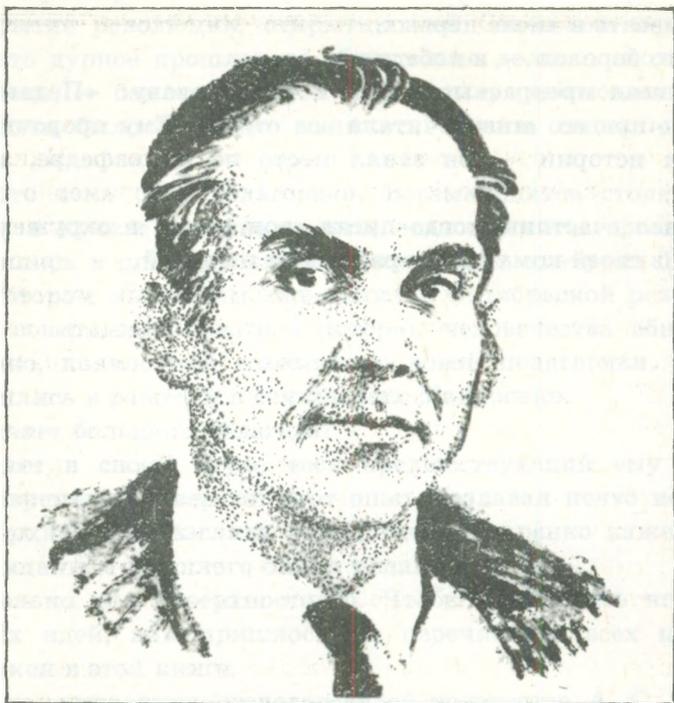
писатель Макаренко», — только и успел он сказать подхватившим его людям.

Если бы пришлось перебирать многих знаменитых людей — кто из них знал счастье? — то Антона Семеновича Макаренко можно было бы назвать в числе первых.

Он долго боролся — и победил.

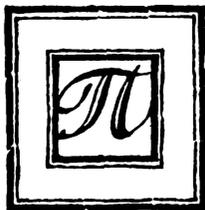
Он написал прекрасные книги и узнал славу: «Педагогическую поэму» еще при его жизни читала вся страна. Ему пророчили звание профессора истории — он занял место не на кафедре, а в самой истории.

И он был счастлив, когда писал свои книги в окружении галдящих ребят в своей коммуне — радостной и бодрой.



Василий Александрович
Сухомлинский развил идею
лучших педагогов прошлого и по-
казал, каково должна быть шко-
ла в XIX веке.

Глава двадцатая



примерно в то же самое время, когда Макаренко покинул своих воспитанников, и примерно в том же самом месте, где он работал — неподалеку от Крюкова и неподалеку от Полтавы, — пришел в маленькую сельскую школу новый учитель, совсем еще молодой — ему было семнадцать лет. Но он пришел к первоклассникам, а для первоклашек семнадцатилетний — взрослый дядя, учитель. Учитель как учитель. О том, что у него еще нет учительского образования, что он сам еще учится, ездит в Полтаву сдавать экзамены, дети, возможно, и не знали, потому что Василий Александрович проводил с ребятами целые дни напролет. В свободное от уроков время они все вместе мастерили лодку; другую лодку купил на свои деньги учитель; еще на одну лодку собрали деньги родители, и летом весь класс отправился в путешествие по Днепру.

Таких путешествий учителя проводят много, и здесь нет ничего удивительного, ничего такого, о чем стоило бы рассказывать в книжке. И все-таки это было необыкновенное путешествие. Учитель организовал его не из педагогических соображений, не потому, что каждый учитель обязан вести внеклассную работу, и не потому, что он был молод и, как все молодые учителя, старателен, а совсем по другой, гораздо более простой причине: он любил детей, особенно маленьких, и проводить время с ними ему казалось счастьем.

Спустя тридцать лет после этой веселой, шумной поездки Василий Александрович Сухомлинский, уже известный педагог, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии педагогических наук, заслуженный учитель, директор знаменитой Павлышской школы, куда ездят учителя со всех стран, — спустя тридцать лет Василий Александрович напишет: «Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям».

Мы познакомились со многими педагогами прошлого, и в каждой истории их жизни видели, как приходила к человеку слава — трудная слава педагога. Учитель — не поэт, он не может прославиться в двадцать лет, такого случая в истории педагогики не было. Нужны годы и годы труда, раздумий, прежде чем сумеешь сказать в педагогике слово, нужное всем. Ведь педагог всегда говорит что-то самое простое, казалось бы даже всем известное. Однако очень трудно к этому простому пробиться.

Но пока мы занимаемся историей и читаем книги о прошлом, в это самое время, сегодня, сейчас где-то рождается это новое прекрасное слово. История — не только то, что было в прошлом. История — это сегодняшнее, которое будет иметь значение и завтра и еще много лет. Как бы нам научиться смотреть на будничную нашу жизнь как на живую историю! Как бы нам научиться ценить ныне живущих замечательных людей с той же щедростью, с какой мы ценим замечательных людей прошлого!

Познакомимся, хотя бы коротко, с жизнью и взглядами Василия Александровича Сухомлинского. Они нам втрое дороже, потому что это жизнь и взгляды нашего современника. Сухомлинский умер в 1970 году, 2 сентября, в день, когда дети, которых он готовил к школе, пошли на первые свои уроки...

А родился Василий Александрович в 1918 году, на Украине, неподалеку от села Павлыш, которое он прославил. Отец его был бедный крестьянин. Позже он стал первым председателем колхоза.

В этой семье было четверо детей, и все четверо — три брата и сестра — стали учителями, потому что в этой семье всегда очень любили книгу. Или потому, что мать Сухомлинских была человеком великой доброты и нежности. Или, может быть, потому, что отец четверых Сухомлинских был человеком великой принципиальности, великой честности, великого трудолюбия. Коммунистом он стал в первый же год после революции. А может быть, еще и потому, что школьный учитель и вообще учение, знание очень высоко ценились в крестьянских домах. Всегда ценились, а после революции особенно.

Сам напрашивается вывод, что все эти причины действовали вместе, и они-то и определили характер учителя Сухомлинского. Ему достались от матери и отца талант, доброта, трудолюбие, честность и тот практический взгляд на жизнь, тот простой здравый смысл, без которого нет народной педагогики.

А ведь искусство воспитания детей, искусство делать их счастливыми и хорошо подготавливать к будущей взрослой жизни — это искусство всегда имеет своим источником народную педагогику. Какие бы книги ни читали люди, как бы ни менялись их взгляды в течение жизни, они всегда помнят, как их самих воспитывали главные воспитатели — отец, мать, первый школьный учитель. И так из поколения в поколение переходят народные традиции воспитания, которые невозможно забыть, да и не надо забывать.

Сухомлинский был учителем малышей недолго — несколько лет. Началась Великая Отечественная война; он ушел на фронт, сражался под Москвой и Калинином, но тоже недолго: его тяжело ранило. И до самой смерти сохранил он в груди осколки снаряда, и до самой смерти сохранил он ненависть к фашизму, ко всему злему и бесчеловечному. Кто знал в детстве добро и счастье, тот особенно сильно ненавидит зло, грубую силу, несправедливость, когда сталкивается с ними.

Военный санитарный поезд, вагоны которого не разделены на купе, а напоминают большие больничные палаты — только койки вдоль стен подвешены на пружинах, — перевез, почти не задерживаясь на остановках, тяжело раненного политрука Сухомлинского в глубь страны, в Удмуртию, в маленький город Уву. Здесь Василия Александровича долго лечили, а когда он стал на ноги и попросился обратно на фронт, то оказалось, что никакая комиссия не может признать его годным для боя, для службы в армии. Назначение ему вышло совсем другое — его сделали директором местной школы. А вскоре освободили от фашистов родные края Сухомлинского, он вернулся домой.

Трудную жизнь прожил Сухомлинский.

И потому каждое его слово звучит так сильно, так веско, даже самое обычное слово. С нами говорит человек, знающий жизнь с ее страданиями.

Когда Василий Александрович вернулся в родные края, у него были уже и опыт учителя, и опыт директора школы, и опыт политической работы в армии. Естественно, что его назначили заведующим районо — районным отделом народного образования, хотя ему было всего двадцать семь лет. А через два года, когда война окончилась и стало больше работников, Сухомлинский попросился с административной работы назад, в школу. Для учителя школа никогда не может

быть «понижением» в должности, школа — это всегда повышение, потому что от самого учителя зависит, какую она станет.

Павлышская школа, в которую Сухомлинский в двадцать девять лет пришел директором, стала, как уже говорилось, знаменитой почти на весь свет. Сегодня о ней можно прочитать и на немецком языке, и на японском, и на венгерском, и на румынском, и на английском. Сегодня занимать пост директора Павлышской средней школы большая честь.

Многие, наверное, думают, что это какая-то особенная, прекрасная, удивительная школа. А на самом деле она маленькая, двухэтажная, старая — ее построили за счет земства еще в начале века. Школа старая, но учат в ней по-новому, учат и воспитывают так, как будут учить во всех школах лишь через несколько лет, а может быть, к концу века.

Пройдемся по этой школе, совершим маленькую экскурсию и посмотрим заодно, какие здесь установлены порядки.

Когдаходишь в Павлышскую школу, то первое, что бросается в глаза, — большой стенд, на котором написано: «Мать, помни, что ты главный педагог, главный воспитатель. От тебя зависит будущее общества».

Под этими словами — картинки с советами для матери. Первый совет такой: «Мамы, рассказывайте своим детям родные сказки».

Еще большой стенд, на этот раз обращенный к детям: «Берегите ваших матерей!»

Сухомлинский считал, что самое важное в школе, в воспитании, — воспитание чувств. И самое трудное. Коммунистическое воспитание — это воспитание человечности в человеке, и начинается оно с любви к своей маме, с заботы о ней. Кто научится заботиться о маме, тот научится заботиться обо всех людях, научится чувствовать человека, понимать его состояние, тот никогда не станет грубым, бессердечным, жестоким. Все лучшие чувства человека естественно вырастают из одного — из чувства любви к матери. И высокая любовь к Родине, патриотизм, тоже имеет источником любовь к матери. Школа ничего не может сделать, она почти бессильна, если она не воспитывает вместе с матерью и отцом. Школа не отделена от семьи, и ребенок, попадая в школу, не становится чужим своей

семье, детство его не прекращается — наоборот, школа продлевает детство и даже возвращает его тем ребятам, у которых по каким-нибудь причинам настоящего детства в семье не было.

Поэтому ученики Сухомлинского до четвертого класса носят в школу куклы, играют, слушают, рассказывают и сами составляют сказки, — разве может быть детство счастливым, если нет сказки?

Но если бы только всё куклы да сказки, развитие ребят могло бы задержаться. Про такую школу мы не сказали бы, что она современная. Ребята из Павлышской школы уже в третьем-четвертом классах строят сложные современные модели, учатся обращаться с тонким инструментом, с электромотором, работать на станке, управлять трактором и мотоциклом. В школе на пятьсот ее учеников — восемьдесят разных кружков: от кружка вышивания до кибернетического. И вокруг школы прекрасный сад, мастерские, учебная электростанция, теплицы, крольчатник, пасека, стадион — чего только тут нет! И все выстроили и сделали сами ребята, разумеется, с помощью взрослых мастеров.

Сухомлинский говорил, что человек должен начинать трудиться с того времени, когда он научится сам нести ложку ко рту. И конечно, он должен работать постоянно, каждый день работать, пока он учится в школе. Но это должна быть такая работа — только такая! — которая вызывает любовь, а не отвращение к труду.

Что же, значит, работа полегче? Нет. Настоящая работа не может быть слишком легкой. Трудное, порой даже однообразное дело, рассчитанное на год или два, — вот такая работа действительно воспитывает людей с упорным, крепким характером. Например, если нужно вдвоем или втроем собрать двигатель внутреннего сгорания — в один день или в месяц не сделаешь! Но Сухомлинский научился и такую работу делать для ребят интересной. Для этого, оказывается, надо, чтобы не только руки трудились, но и голова: чтобы сначала был замысел, мечта сделать что-то интересное, ценное, важное для людей. Если у человека нет мечты, если он работает по принуждению, то как же у него появится любовь к труду? А вот любовь-то эта и была для Сухомлинского самым важным результатом его педагогического труда.

Две школы рядом. В одной ребята построили, скажем, стадион и в другой построили примерно такой же стадион. И про одних говорят: «Молодцы», и про других говорят так же. Да только в одной

школе работали с охотой, а в другой нехотя. В одной радовались работе, а в другой проклинали ее. Но что для педагога, для истинного педагога, важнее — стадион или то, какие чувства вызывает у ребят работа на стадионе? Ответить на этот вопрос может каждый. Однако не каждый сможет сказать, что надо сделать, чтобы труд — всякий труд: и за партой, и в поле, и на строительстве — вызывал радостные чувства, чтобы он вел к трудолюбию.

Сухомлинский сумел ответить на этот вопрос.

В Павлышской школе все учителя заботятся о том, чтобы ребята на уроках и после уроков жили богатой духовной жизнью. Чтобы они не просто ходили в школу, выполняли домашние задания, работали на пришкольном участке и так далее, а чтобы они постоянно задумывались о своей жизни, о своем месте в жизни, о своих человеческих качествах, чтобы они стремились — сами стремились! — стать лучше, чище, богаче душой. А если человек живет сложной духовной жизнью, если он чувствует постоянную свою связь со всеми людьми, если он чувствует себя в школе человеком, а не только учеником, — тогда и всякая его работа, всякий труд тоже становятся частицей этой духовной жизни, одухотворяются. Тогда это не постылый труд, а радость, жизнь, счастье.

Но если бы мы здесь поставили точку и решили бы, что ответ на вопрос найден, мы поступили бы очень поспешно, опрометчиво. Да, у нас есть ответ, но такой ответ, который вызывает лишь новые вопросы.

Педагогика, особенно в той ее части, которая занимается проблемами воспитания, — самая сложная из всех наук, известных человечеству. Ее вопросы бесконечны, и каждый ответ ничего не значит, вовсе не является ответом, если не решены тысячи других вопросов. Здесь все взаимосвязано, все надо решать не просто, не прямо, а какими-то обходными, иногда очень далекими путями. Кто в педагогике ищет простые и легкие пути, тот, может, и добывается видимости ответа, но не более того. Мы видели это на нашем простом примере со строительством школьного стадиона. «Ребята построили стадион, замечательно потрудились», — говорят иногда, и так и хочется сделать вывод, так и просятся на язык слова: «Какие трудолюбивые ребята!»

А на самом деле, как мы уже говорили, слова «построили стадион» и сам факт строительства стадиона, если нет ясности насчет

многих других обстоятельств стройки, — сам этот факт для педагога ничего не значит. Может, трудолюбивые ребята, а может, и нет... Может, после этой грандиозной стройки труд разлюбил даже тот, кто прежде любил его.

Так и во всех случаях: никогда нельзя ограничиваться слишком простым ответом. «Духовная жизнь школы» — красивое понятие. Но как сделать, чтобы ребята действительно стремились к высокому?

Для этого, говорит Сухомлинский, нужно, чтобы в школе каждый ребенок чувствовал себя человеком. Чтобы прежде всего на него никто не кричал, не унижал криком его человеческое достоинство, чтобы учитель был добр и ласков с каждым учеником, чтобы в школе не было наказаний, потому что в большей своей части наказания несправедливы.

Воспитывать без наказаний? Возможно ли это?

Возможно, утверждает Сухомлинский. Он даже статью такую написал: «Воспитание без наказания». Эта статья была опубликована в газете «Правда».

Вот строчки из одного письма Василия Александровича:

«... наших советских детей можно воспитывать только добром, только лаской, без наказаний. Десять лет я воспитывал своих питомцев абсолютно без наказаний, и они стали настоящими людьми...

Да, мы живем без наказаний, и живем очень хорошо. И мы верим, что именно такой будет коммунистическая школа. Что другой она и быть не может. Если вы хотите, чтобы, став взрослым, человек глубоко переживал малейшее порицание коллектива, воспитывайте его в детстве без наказаний. И если в массовом масштабе во всех школах сделать это пока невозможно, то не потому, что воспитание без наказаний невозможно, а потому, что многие учителя не умеют воспитывать без наказаний. Если вы хотите, чтобы в нашей стране не было преступников... воспитывайте детей без наказаний...»

Если мы оглянемся в прошлое, перелистаем труды великих педагогов прежних времен, мы легко заметим, что призыв воспитывать без наказаний, добром и лаской, всегда исходил от воспитателей. Учителю же любить всех детей гораздо труднее.

Учитель сталкивается с детской ленью, с нежеланием учиться. Учителю постоянно приходится наказывать ребят хотя бы двойкой, и это всегда казалось неизбежным. Надо же заставить учиться и тех,

кто по глупости своей мальчишечьей учиться вовсе не хочет, — заставить ради пользы самого этого мальчишки.

Мы помним школу в Ясной поляне — школу, где учили без принуждения. Что же, может быть, просто повторить этот опыт? Вспомнить о педагоге Льве Толстом хотя бы через сто лет?

Вспомнить, конечно, следует. Но ведь Толстой учил только в начальной школе. Маленькие дети вообще учатся охотнее, чем большие. И затем, мало сказать: «Не принуждайте детей». Надо сделать так, чтобы в принуждении учиться не было необходимости — чтобы все дети сами учились с охотой! И чтобы это было доступно каждому учителю, а не только таким выдающимся людям, как Толстой или Сухомлинский.

Здесь мы подходим к самому интересному в педагогической системе Сухомлинского. И наименее известному. Все знают, что Сухомлинский был замечательным воспитателем, что он призывал быть гуманным с ребенком, воспитывать добром и лаской, заботиться о детском счастье, но гораздо меньше известен Сухомлинский-учитель, Сухомлинский-дидакт.

Дидактика — наука, которая изучает процесс обучения. Дидактика отвечает на вопрос «Как учить?».

Так как же учить по Сухомлинскому?



Это похоже на лабиринт: мы все уходим вглубь, и, возможно, кто-нибудь из читателей уже потерял спасительную нить рассуждений, заскучал. И все же будем терпеливы и мужественны, все же пройдем все здание, выстроенное Сухомлинским, до конца. История дала нам счастлившую возможность увидеть всю современную педагогику, понять все трудности воспитания и обучения детей в конце XX века в опыте одного педагога.

Воспользуемся же этой возможностью, будем прилежно изучать Сухомлинского. Сегодня педагог, незнакомый с его взглядами, не может считаться передовым человеком, он не имеет права даже сказать, что знает педагогику, хотя, быть может, изучал ее всю жизнь.

Мы прошли по школе Сухомлинского в Павлыше. Заглянем теперь в святая святых всякой школы — на урок. Любые, даже самые прекрасные воспитательные мероприятия теряют значение, если

школьнику плохо, скучно, тоскливо на уроке, если он не понимает, о чем говорит учитель, если дневник его полон двоек, если он идет на урок с тоской в сердце и оживляется лишь с последним звонком.

«Все наши замыслы превращаются в прах... если нет детского желания учиться», — писал Василий Александрович.

— Учение, — говорил он, — это прежде всего отношения — отношение ученика к учителю, к предмету, к своей работе. Желание детей хорошо учиться — основа школы, без него школы нет. Учитель обязан возбудить и поддерживать это желание постоянно.

Но учение — это труд, тяжелый умственный труд, постоянные усилия понять, запомнить, научиться, решить, усвоить...

Люди, которые, быть может, никогда в жизни сами не испытали радости труда, склонны считать, что коли труд — значит, обязательно должно быть скучно, нудно, значит, обязательно должно быть принуждение или самопринуждение. Из аксиомы «учение есть труд» такие люди делают вывод: значит, учение не может быть всегда интересным и увлекательным. Да к тому же, говорят, в жизни не может быть все интересно, и надо с детства приучать ребенка к долгу, к выполнению и непривлекательной работы.

Но мы уже видели, что, заставляя трудиться, трудолюбие не воспитает.

Да, учение — труд, но это должен быть радостный труд, ибо только радостный, свободный труд воспитывает любовь ко всякой необходимой работе. Долг и радость в советской школе должны не расходиться, а сливаться в одно чувство.

Уже через несколько лет после того, как Сухомлинский привял школу в Павлыше, он поставил перед своими учителями такой вопрос: как сделать, чтобы все ребята испытывали страсть к учению?

Не интерес — страсть!

Почему, спрашивал директор школы Сухомлинский, дети приходят в школу с огромным желанием учиться, тянут руки, просят, чтобы их вызвали, а через несколько лет, примерно к пятому классу, этот огонек постепенно угасает? В чем дело? В чем секрет?

С подобным явлением встречается каждый учитель, каждый директор. Но обычно ограничиваются тем, что вздыхают: «Да, вот так... В первом классе все молодцы, а к пятому — полкласса лентяев... Ничего не поделаешь...»

Ничего не поделаешь?

Вот с этим-то Сухомлинский и не мог примириться. «Нет, так больше продолжаться не может!» — решил он.

Собственно говоря, этим и отличается большой человек от заурядного. Оба видят перед собой одни и те же явления, но один говорит: «С этим ничего не поделаешь», а другой: «Так больше продолжаться не может». И его не смущает, что тысячи людей примиряются с бедой, что педагогика веками бьется над этими проклятыми вопросами, — его ничего не смущает, не пугает.

Выдающиеся люди могут быть в жизни и тихими и робкими, даже и ничем не выделяться среди других, но в решении труднейших вопросов жизни они бывают безумно смелыми.

Сухомлинский начинает титанический труд — ищет ответ на вопрос, который его мучит. Каждый день он ходит с урока на урок — то в первый класс, то в пятый, то в седьмой, то во второй... Почему дети теряют охоту к учению? Как воспитать страсть учиться? И не только директор бьется над этим вопросом — он сумел увлечь всех учителей в школе. Каждый пересматривал свой труд, даже самые опытные, те, что преподавали уже по тридцать лет и, казалось, всё знали и всё умели.

И вот что постепенно стало выясняться. Для того чтобы детям было интересно учиться, вовсе не обязательно делать каждый урок занимательным, не нужно развлекать детей и придумывать что-то необыкновенное. Секрет интереса вовсе не в занимательности, а в успехах детей, в их ощущении роста, движения, достижения трудного.

Вчера не понимал — сегодня понял. Вот где радость! Вчера не умел — сегодня научился. Вот в чем счастье!

Выходит, чтобы дети хорошо учились, надо, чтобы они... хорошо учились?

Парадокс?

Этот парадокс, наверно, и войдет в историю педагогики как «парадокс Сухомлинского»: чтобы дети хорошо учились, надо, чтобы они хорошо учились.

Но никакого парадокса здесь, конечно, нет. Ларчик открывается хотя и не просто, но все же открывается: чтобы дети хорошо учились, надо научить их учиться.

Сухомлинский обнаружил, что многие учителя смотрят на школьников примерно так, как мастер смотрит на станок: есть станок —

он должен давать определенную продукцию. Есть ученик — он должен «выдавать» знания.

Да ведь ученик — не станок! Ученик вечно в развитии, он растет, умнеет, развивается, и надо прежде всего заботиться о его развитии.

В прежние времена, когда образование было необязательным, учитель мог сказать ученику: «Ты, братец, туп, школьной премудрости тебе не одолеть, ступай вон». Впрочем, такие тирады и не обязательно было произносить: достаточно было выставить энное количество двоек... Вспомним, сколько ребят поступало в царскую гимназию и сколько кончало ее.

Василий Александрович Сухомлинский считает, что ленивыми ребята становятся в самой школе оттого, что их с первых классов не научили любить школьный труд и не дали им почувствовать радость успеха в учении. Малоспособные от природы дети, конечно, есть, но и их способности могут быть развиты, и они могут успешно кончить среднюю школу, если их не «глушить» двойками, если поддерживать каждое их усилие, если не внушать им, что они неспособные...

Испокон веков перед каждым учителем стоит две пары задач: обучать детей и одновременно воспитывать их;

обучать детей и одновременно развивать их способности.

А Сухомлинский показал, что все эти задачи фактически невозможно решить, если не поставить перед собой и не решить еще одну, такую же важную «пару» задач:

вызывать страсть к знанию и учить учиться.

Незачем говорить — надеюсь на сообразительность читателя, — что в отдельности эти задачи не могут быть решены: страсть к знанию нельзя воспитать, если не научить ребят учиться...

* * *

Итак, все загадки разгаданы?

Увы, я должен опять огорчить нетерпеливого читателя, желающего овладеть всеми премудростями современной педагогики с маху.

Это все была только присказка, сказка же начинается дальше...

«Учить учиться...» Хорошо. Но что это значит? Что на практике должен делать учитель, чтобы даже самых неспособных учеников сделать способными?

Таких секретов тысячи: чтобы овладеть ими, надо получить спе-

циальное педагогическое образование да потом еще много лет работать в школе. Но все-таки попробуем перечислить самые главные находки Павлышской школы.

Уроки мысли. Многие ребята не умеют думать, не знают радости внезапного пробуждения мысли. Но мысль ребенка начинает усиленно работать, если повести класс в лес, на луг, в поле и там задавать детям тысячу вопросов «Почему?», и там ждать от них ответа и добиваться его. Совместное переживание красоты природы, совместное стремление понять ее тайны пробуждает мысль. Сухомлинский называет это «эмоциональным пробуждением разума». Без такой подготовки, без того, чтобы дети не задумывались над явлениями природы, начинать учить детей в классе нельзя.

Творчество. Труд мысли, пробуждение мысли невозможно, если нет детского творчества. Дети у Сухомлинского начинают складывать сказки еще до того, как выучатся писать, пишут огромное количество маленьких сочинений с самого первого класса, сами составляют математические задачи, — все виды творчества детей используются в Павлыше.

Домашние уроки. В Павлыше стараются так подготовить ученика, чтобы ему не надо было слишком долго сидеть над уроками. Время, необходимое для занятий дома, обратно пропорционально свободному времени ученика. Чем больше свободного времени для занятий в кружках, для занятий любимым предметом, для чтения книг, словом, для общего развития, тем быстрее справляется ученик с уроками. А чем больше он сидит над уроками, чем меньше у него свободного времени, тем больше ему сидеть и приходится.

Интеллектуальный фон. Интерес к учению, общее развитие ученика невозможно, если в классе нет богатого интеллектуального фона — постоянного обмена знаниями, общего стремления к знанию, интересных и содержательных разговоров между ребятами. Этот интеллектуальный фон и помогает обходиться без зубрежки, помогает работе мысли.

Отметка. Отметка, считает Сухомлинский, всегда должна приносить радость, отмечать успех. Нельзя ловить учеников на незнании, надо добиться, чтобы они узнали, поняли, справились с работой, и лишь тогда ставить отметку. Отметка не может быть наказанием, средством принуждения, угрозой. Отметка всегда говорит об успехе. Поэтому и тройку, считает Сухомлинский, надо считать хорошей

отметкой — и тройка говорит о большой работе ученика, который еще вчера не мог ответить на тройку.

Увлечение. В Павлышской школе добиваются, чтобы у каждого ученика был любимый предмет, в котором он превосходит других ребят. Это и создает интеллектуальный фон класса, развивает интерес к знанию, поддерживает таланты.

Проблемное обучение. Этими двумя словами называют обычно систему разнообразных приемов пробуждения мысли. Новый материал во многих случаях задается как проблема, которую ребята с помощью учителя должны решить. Методы проблемного обучения в последние годы разрабатываются самыми крупными учеными, все признают их передовыми методами обучения. В Павлыше они применяются еще с начала 50-х годов.

Ну, как говорят, и так далее, и так далее, и так далее...

Каков же результат применения всех этих идей и методов всей этой работы?

Когда в Павлыш приезжают гости — а в Павлыш приезжает много гостей, — то больше всего их поражает, что десятиклассники на уроках тянут руки — хотят отвечать! — как первоклашки. Интерес к знанию здесь не угасает с годами, а, наоборот, развивается и сохраняется на всю жизнь.

А в нашем веке, в эпоху научно-технической революции, это, пожалуй, можно назвать самым главным результатом обучения, потому что наука и техника развиваются теперь так быстро, что каждому человеку приходится несколько раз переучиваться за время его жизни. Кому школа не привила страсти к учению, стремления узнать новое, тот сегодня не будет хорошим работником.

Второй главный результат не менее важен. Он заключается в том, что Сухомлинский научился учить всех ребят до десятого класса включительно — всех подряд, не разделяя их на способных и неспособных.

Какое значение имеет этот результат для нашей страны, которая переходит к всеобщему среднему образованию, об этом, пожалуй, и не надо говорить...

Может возникнуть вопрос: что же, Сухомлинский сделал все это один?

Конечно, нет. В его работах собрано все лучшее, что накопила наша советская школа за полвека работы. Труды десятков ученых,

опыт тысяч учителей сконцентрировались в тридцати книгах Сухомлинского и в сотнях его статей. Так было у Макаренко, так должно быть у каждого выдающегося педагога.

А самое важное заключается в том, что как бы много ни сделал этот человек, сжигавший себя в неустанной своей работе, еще больше дел и нерешенных задач осталось на долю тех, кто идет сегодня в школу учителем, кто решил посвятить себя педагогической науке.

Сухомлинский как бы подвел итог: он показал всему миру, что советская школа — добрая школа, что она уважает в школьнике человека и что она может хорошо выучить, хорошо подготовить к счастливой, бодрой, трудовой жизни каждого ребенка, что наша школа отвечает на все вызовы трудного XX века.

Но кто сделает следующий шаг?

На воротах истории образования белеют записки с большими буквами: «Требуются...» Требуется новый Песталоцци, новый Ушинский, новый Макаренко, новый Сухомлинский. Кто попробует? Кто рискнет? Кто не побоится обречь себя на постоянную тревогу, на поиск, на неудачи, на риск?..

Люди вчитываются в биографии замечательных учителей прошлого, в их книги и статьи вовсе не для того, чтобы восхищаться ими, и только. И не для того, конечно, чтобы повторять их жизни: подвиги ученых неповторимы. Однако их пример прибавляет силы, возвышает дух, — настала наша очередь действовать...

Но что бы новое ни было изобретено, какие бы открытия ни совершались, пусть сохранится у каждого уважение к школе, к ее добрым традициям, к самому простому, основному: к учителю и к ученику. В конце концов, какие бы методы ни открывали, какое бы оборудование ни привозили в класс — пусть доску с мелом, пусть киноаппарат или телевизор, пусть даже обучающую машину, — главным, вечным и неизменным остается в школе *учитель*.

И потому, прежде чем закрыть книгу, побываем в последний раз на берегах прекрасной в своем постоянстве и в своей изменчивости реки Итомли, отдадим поклон вечным учителям Раменским.

Я, Раменский Аркадий Николаевич, сын учителя с. Мологино, Ржевского уезда, Тверской губернии, начал учительствовать с 1910 года. Работал зав. школой с. Березки, зав. школой № 5 города Вологое, учителем Мологинской СШ., учителем Зареченской НСШ, Вышневолоцкого р-на, Калининской области, и вышел на пенсию в 1952 году, проработав на педагогической работе сорок два года.

Последняя запись в семейной хронике учителей Раменских



так, последний в хронике Раменский — Раменский наших дней. Об основателях рода известно по семейным преданиям и документам, о Николае Пахомовиче рассказывали его ученики, теперь уже очень старые мологинские крестьяне, а с нынешними Раменскими, детьми Николая Пахомовича и его внуками, автор этой книги знаком сам. Древняя история и сегодняшний день слились в одно, и ясно стала видна связь нынешнего урожая с первыми зернышками посева.

...Теплым августовским вечером я сошел с автобуса и леском, полем, мелкими тропинками добрался до деревни Лялино, к большому дому на окраине, старинной усадьбе. Высокие окна выходят в сад, высокие двустворчатые двери с фигурными накладками ведут из комнаты в комнату.

Меня встретил худощавый старик. Держался он прямо, но без напряжения, легко. Встретил приветливо, лишь едва заметной усмешкой блеснули глаза, — у всех Раменских слегка насмешливый взгляд.

Старик этот был сын Николая Раменского — Аркадий Николаевич Раменский.

Все, что есть лучшее в Раменских, соединилось в нем: высокая культура прадеда Алексея, независимость деда Пахома, серьезность и профессионализм отца его Николая Пахомовича. А сверх того, было у него мудрое спокойствие старого учителя,

для которого все люди вокруг — ученики, все могли бы сидеть в его классе, всех он видит насквозь и всех готов простить.

Признаться, я всматривался в этого человека как в живое чудо. Думал увидеть в нем стариков Раменских, почувствовать следы той борьбы, которую вели люди вроде Пирогова, Ушинского или Ульянова, — должно же это как-то сказаться в современном Раменском? Но нет — просто старый учитель, каких нередко встретишь. Или надо обладать особым взором, чтобы увидеть в человеке страдания и радости живших до него людей? Чтобы понять невидимую, но реальную — где-то в нем самом существующую — связь его с просветителями, декабристами, шестидесятниками, народниками... А ведь, наверно, такая связь есть, и за каждым учителем, входящим сегодня с журналом и указкой в класс, стоят незримой чередой образы тех великих людей, великих педагогов... И вот старый учитель в домашней куртке...

Имена его знаменитых предков по семье и по профессии не тяжестью ложились ему на плечи, а давали ту внутреннюю поддержку, с которой человеку легче переносить трудности жизни. Не надо ему выгладеть лучше, чем он есть, не надо стараться утвердить себя на земле: все, что он делал, он делал, не особенно торопясь, делал уверенно, потому что у него не только собственный опыт — наследственный инстинкт учителя, прирожденное чувство школы. Длинную-длинную жизнь прожил старик. А от кого он зависел?

Ни от кого.

Когда Аркадий Николаевич кончил духовную семинарию и должен был идти в класс (многие Раменские кончали духовные учебные заведения — это было дешевле гимназии и образование хорошее), место в Мологине еще занимал отец. Отец до глубокой старости работал, а когда вышел на пенсию, то помогал дочери проверять тетради ее учеников и сердился: «Что они у тебя, не знают, где «ягь» пишется?» А «ягь» в ту пору уже отменили. Школа в Мологине была занята, Аркадий Николаевич получил должность в селе Березки (это было за четыре года до первой мировой войны) и стал строить свою и, конечно, новую школу, непохожую ни на дедовскую, ни на отцовскую, иначе он, Аркадий Николаевич, не был бы Раменским. Не будь у Рамен-

ских этого качества — стремления к новому, — род их давно сгинул бы в неизвестности.

В те годы Аркадий Николаевич думал о том же, над чем работали Шацкий, Блонский, потом Макаренко: как соединить учение в классе с трудом, как научить ребят коллективной жизни, — таких забот не знали его отец и дед. При своей школе он создал отличную сапожную мастерскую, потом мебельную мастерскую, мастерскую резьбы по дереву, а для девушек — золотошвейную. Продукцию учеников Раменского показывали на заграничных выставках. Сам министр народного просвещения бывал в Березках, об опыте Раменского написали специальную брошюру. Но Аркадий Николаевич не остановился на этом: он создал при школе интернат для крестьянских детей, и не просто интернат — коммуну. Местному начальству коммуна показала заведением подозрительным. Попечители пожаловались на Раменского в министерство. Но его не тронули.

— Лицо я был значительное, — неторопливо рассказывал Аркадий Николаевич, подшучивая над собой, — меня голыми руками не возьмешь, со мной считались...

После революции его сделали волостным комиссаром по просвещению — инспектором.

— Инспектировать, значит... А что инспектировать, если ребята и учителя голодные и холодные?

Тянуло его в Мологино, в отцовскую школу, но только в конце 30-х годов вошел он в класс, где прежде учил отец. А вскоре началась война, немцы заняли Мологино. Недолго, всего несколько недель, были они здесь, и как не было Мологина. Сгорел и разрушен красавец храм, построенный еще при первом Раменском, дотла сгорели отцовская школа, отцовский дом, знаменитая библиотека Раменских. Горе, какого не знал никто в роду Раменских. Пятидесятилетний учитель молча смотрел на пожар из лесу, где скрывались от немцев мологинцы.

А когда немцев прогнали и женщины с ребятами вернулись в село, на другой же день собрал Аркадий Николаевич детей в избу и стал учить их, как и прежде, только немножко торопился. Сердился на ребят чаще. «Что ты за экземпляр? — говорил. — Я к тебе душой, а ты ко мне спиной. Нехорошо».

Война войной, голод голодом, все можно пережить, но, если

перестать учить детей, настанет мрак... Война отняла у мологинских детей отцов, отняла хлеб и дом, но жив учитель, и ученье у ребят не отнимут.

Кто это говорит, что в учителя подаются лишь люди, не способные на большее? Аркадию Николаевичу предлагали в молодости в город идти, сделал бы он карьеру, может, и не хуже, чем дядя его, Алексей Пахомович, что в орденах и с лентой ходил. Раменским ли способности занимать? Но отказался Аркадий Николаевич, только и проговорил:

— Нет, около озера я останусь да около лесу...

Около озера да около лесу, на берегу милой реки Итомли, в невысоких чинах, но с высокой культурой; с небогатым доходом, но с ежедневной прибылью радости — человеческой радости учиться, радости обновляться, радости учить и видеть, как люди умнеют и обновляются, чтобы сказать, как говорил Аркадий Николаевич незадолго перед своей смертью:

— Жил я честно, никого не обидел, что мог, делал.

Если вдуматься в эту формулу-итог, так чего лучшего желать человеку? «Жил я честно, никого не обидел, что мог, делал».

Каждый делал что мог, и все вместе подняли культуру необозримой страны и, в маленьком селе на берегу Итомли проведя свои жизни, встали в ряд с великими просветителями.

После войны, спустя много лет, в 1963 году, было в отстроенном Мологине торжество: праздновали двухсотлетие династии учителей Раменских. Был здесь Аркадий Николаевич, были его сестры — старые учительницы Нина Николаевна и Людмила Николаевна (у каждой по сорок с лишним лет стажа), была бесчисленная родня Раменских — Виноградовы, Синадские, Смольковы, Разумихины: зятя, дядя, племянники — все учителя. Все до одного. Раменские точно отражают ход истории: где прежде был один учитель — теперь десять. Многовековую борьбу вынесли, многотысячье детское через души свои пропустили — каждого полюби, каждого вынай, каждого на ноги поставь и вслед ему, когда по житейской дороге отправится, улыбнись, чтоб легче путь был. Напутствие учителя сливается с отцовским благословением.

«Предки нашей семьи учились у народных учителей Раменских. Один из них, Кузьма Васильев, в Отечественную войну

1812 года возглавлял отряд мологинских партизан в борьбе с наполеоновскими захватчиками. Наш дед, Александр Кузьмич Мансветов, был учеником Пахома Раменского, а наш отец, Василий Александрович Мансветов, и его 7 братьев и сестер были учениками Николая Пахомовича Раменского. В годы Советской власти 21 член нашей семьи и ближайшие родственники окончили Мологинскую школу и все, получив высшее образование, работают учеными, инженерами, педагогами, военнослужащими...»

Эту надпись сделал на букваре, подарив его Раменским, один из их учеников — В. В. Мансветов.

Две семьи вместе преодолевали пространство веков, держались друг за друга. Может быть, десятилетиями жили в соседних избах. Учителя и ученики.

Ученики — крестьянин, партизан, ученый, инженер.

Учитель — учитель. И этим все сказано.

Чей род добился в жизни большего?

Можно, конечно, задать и такой вопрос. Но зачем?

Первым при встрече с учителем кланяется ученик. И чем старше становится он, тем ниже наклоняет голову, быть может уже и седую.

Кланяются люди учителю.

Каждый, перебирая дни и часы своей жизни, хотя бы в самой глубине памяти находит тот сладкий час, когда он слушал учителя с открытой душой и теплым доверием. Час ученичества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	10	Глава одиннадцатая	121
Глава вторая	17	Глава двенадцатая	131
Глава третья	27	Глава тринадцатая	144
<i>Раменский-отец</i>	34	Глава четырнадцатая	157
Глава четвертая	39	<i>Раменский-правнук</i>	165
Глава пятая	49	Глава пятнадцатая	171
Глава шестая	57	Глава шестнадцатая	179
<i>Раменский-сын</i>	68	Глава семнадцатая	195
Глава седьмая	73	Глава восемнадцатая	207
Глава восьмая	87	Глава девятнадцатая	217
<i>Раменский-внук</i>	96	Глава двадцатая	237
Глава девятая	101	<i>Раменский-праправнук</i>	251
Глава десятая	109		

Для старшего возраста

Соловейчик Симон Львович

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Ответственный редактор *Э. П. Микоян*. Художественный редактор *М. Д. Сухоцкая*. Технический редактор *Т. Д. Юрханова*. Корректоры *В. К. Мирингоф* и *Э. Н. Сизова*. Сдано в набор 20/VI 1972 г. Подписано в печать 24/XI 1972 г. Формат 70×90¹/₈. Печ. л. 16. Усл. печ. л. 18,72. (Уч.-изд. л. 15,2). Тираж 150 000 экз. ТП 1972 № 374. А08442. Цена 84 коп. На бум. № 1.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы Росглаволиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. Зак. № 782.

Ламонсов
1711-1765

Новиков
1744-1818

1763
Гаманский
отец

1712
Гусев
1778

1744

Голоменский
1592-1670

1711

Скворцова
1722-1794

1817
Гаманский
сын

Песталоцци
1746-1827

Цертков
1828

1834
Гаманский
внук

Тирогов
1810-1881

Крифская
1869-1939

ович
1814

Машкин
1878-1934

1910
Раменский
пра-правнук

Толонский
1884-1941

Макаренко
1888-1939

инский
1870

Молстой
1828-1910

1869
Раменский
пра-правнук

Сухоминский
1918-1970

кий
189

Ульянов
1831-1886

Цена 84 коп.

